

ГЕНРИ
ДЖЕЙМС



ЗОЛОТАЯ
ЧАША



МИРОВАЯ КЛАССИКА

Генри Джеймс
Золотая чаша

«Центрполиграф»

1916

УДК 821.111(73)-31
ББК 84(7Сое)

Джеймс Г.

Золотая чаша / Г. Джеймс — «Центрполиграф», 1916

ISBN 978-5-227-09929-7

Мегги Вервер, дочь американского миллионера Адама Вервера, коллекционера и тонкого ценителя художественных ценностей, выходит замуж за князя Америго – молодого итальянца из обедневшего аристократического рода. Мегги влюблена и счастлива, однако ее тревожит мысль, что ее давно овдовевший отец, увлеченный совершенствованием своей коллекции, останется совсем один. Накануне свадьбы Мегги знакомит отца с давней подругой – очаровательной американкой Шарлоттой Стэнт, полагая, что тому пойдет на пользу общество молодой особы. Мегги не осознает, что, впуская в дом обольстительную женщину, рискует быть преданной и обманутой... Генри Джеймс (1843–1916), признанный классик американской литературы, мастер психологической прозы, описывает сложные взаимоотношения двух пар, связанных по прихоти судьбы узами любви, и отвечает на извечный вопрос: богатство – дар судьбы или проклятье?..

УДК 821.111(73)-31
ББК 84(7Сое)

ISBN 978-5-227-09929-7

© Джеймс Г., 1916
© Центрполиграф, 1916

Содержание

Часть первая	6
1	6
2	16
3	26
4	34
5	47
6	54
7	63
8	71
9	76
10	82
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Генри Джеймс

Золотая чаша

© Перевод, «Центрполиграф», 2023

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2023

Часть первая

Князь

1

Князю нравилось бывать в Лондоне с тех самых пор, как он узнал этот город; князь принадлежал к числу тех современных римлян, что находят на берегах Темзы истинный образчик древнего государства, более убедительный, нежели оставленный ими на берегах Тибра. Воспитанный в мифологии великого Города, которому целый мир приносит дань, князь находил, что такая роль по своим масштабам подходит современному Лондону значительно лучше, нежели Риму наших дней. Если уж речь идет об Империи, говорил он себе, и если, будучи римлянином, человек стремится заново обрести, хотя бы отчасти, соответствующее мироощущение, предаваться этому занятию лучше всего на Лондонском мосту или даже в Гайд-парке в погожий майский денек.

Впрочем, в настоящую минуту, когда мы уделили ему свое внимание, князь направлялся не к одному из этих мест, предрасположенность к которым выражалась у него, в конце концов, не так уж однозначно. Он просто-напросто забрел на Бонд-стрит; воображение, стесненное сравнительно узкими рамками, вынуждало его время от времени останавливаться перед какой-нибудь витриной, где массивные, тяжеловесные изделия из золота и серебра, украшенные или же обезображенные драгоценными камнями, кожей, сталью и бронзой, были навалены горами, словно трофеи победоносных сражений дерзостной Империи в неких отдаленных землях. Впрочем, движения молодого человека не выказывали сколько-нибудь сосредоточенного внимания даже в тех случаях, когда остановка была вызвана внезапно мелькнувшим многообещающим отражением хорошенького личика, скрывающегося в тени громадной шляпки с лентами или под прозрачной сенью шелкового зонтика, наклоненного под невыносимым углом, в стоящем у обочины экипаже с откидным верхом. А между тем подобная рассеянность князя была весьма симптоматична, ибо, хотя лето подходило к концу и яркие краски улиц уже начинали тускнеть, все же в этот августовский день возможности, таящиеся в мелькающих личиках, оставались одним из осязаемых акцентов в пейзаже. Но дело в том, что князь был настроен чересчур беспокойно, чтобы сосредоточиться на какой-то одной идее, и уж менее всего была близка ему в эту минуту идея погони в какой бы то ни было форме.

Вот уже шесть месяцев не отдыхал он от погони, преследуя свою цель, как никогда прежде не случалось ему преследовать что-либо в своей жизни, и сейчас мы застаем его в минуту некоторой растерянности от осознания того, что погоня завершена. Преследование закончилось поимкой добычи – или, как предпочел бы выразиться князь, его усилия увенчались заслуженным успехом. Впрочем, пока эти мысли приводили его скорее в серьезное, нежели в ликующее расположение духа. Чувство отрезвленности, более приличествующее потерпевшему поражение, преобладало в его красивом лице с правильными, строгими чертами, и в то же время, как ни странно, лицо это представлялось – так сказать, в функциональном плане – почти сияющим, с этими темно-голубыми глазами, темными усами и выражением отнюдь не чрезмерно «иностранным» для английского взгляда; лишь изредка случалось кому-нибудь заметить, не слишком, впрочем, к месту, что он похож на «рафинированного» ирландца. Произошло же следующее: только что, в три часа пополудни, судьба его практически была решена, и пусть на данный момент это ни у кого не вызывало возражений, все же было в случившемся нечто, напоминающее зловещий скрежет ключа, поворачивающегося в самом прочном на свете замке. Более того, в настоящее время ничего не оставалось делать, кроме как прочувствовать достигнутый

результат, чем и занимался наш герой, бесцельно бродивший по городу. Как будто бракосочетание уже свершилось – с такой определенностью, благодаря усилиям поверенных, была в три часа пополудни назначена дата, и так мало оставалось дней до этой даты. В половине восьмого князю предстоял обед с юной леди, от имени которой – а также от имени ее отца – лондонские юристы пришли к столь отрадному согласию с его собственным поверенным в делах, беднягой Кальдерони, только что прибывшим из Рима и в эту минуту, видимо, переживавшим тот волшебный процесс, который называют «знакомиться с Лондоном», прежде чем вновь его покинуть со всей возможной поспешностью, причем «знакомство» осуществлялось под личным руководством самого мистера Вервера – мистера Вервера, чье беспечное отношение к собственным миллионам выразилось на этот раз в крайней нетребовательности при обсуждении условий брачного контракта. Более всего поразило князя именно проявление этой нетребовательности, вследствие коего Кальдерони в настоящую минуту любовался на львов вместо того, чтобы сопровождать его самого. Если и было сейчас у молодого человека какое-то определенное намерение, то состояло оно в том, чтобы стать более достойным зятем, нежели большинство его знакомых, выступавших в той же роли. Об этих знакомых, от которых предстояло ему так разительно отличаться, князь думал по-английски; мысленно он обозначал свое отличие от них английскими словами. Будучи знаком с этим языком с самого раннего детства, так что ни губам его, ни уху эти звуки нисколько не казались чуждыми, князь находил его весьма удобным для описания большинства жизненных отношений. Удобным – вот странность! – даже в случае отношений с самим собой, хотя и при сознании того, что со временем могут появиться в его жизни иные отношения, и в том числе более интимный вариант упомянутого выше, которые потребуют (и, может быть, крайне настоятельно) более широкого или более точного – какого же именно? – использования языковых средств. Мисс Вервер как-то заметила ему, что он слишком хорошо говорит по-английски, – это был единственный его недостаток, и даже ради нее он не смог заставить себя говорить хуже. «Видишь ли, когда я говорю хуже, я говорю по-французски», – пояснил он, давая понять, что существуют особые случаи, несомненно, довольно низменного свойства, в которых этот язык наиболее уместен. Девушка усмотрела в его словах (немедленно высказав свое впечатление вслух) намек на ее собственные познания во французском языке, который она всегда мечтала освоить как следует, освоить еще лучше; не говоря уже о том, что молодой человек, очевидно, считал, будто его реплика выше ее понимания. На подобные замечания князь отвечал, – очень мягко и обаятельно, иных ответов еще не слышали от него участники столь недавно заключенного соглашения, – что он упражняется в американском языке, дабы беседовать с мистером Вервером, если можно так выразиться, на равных. Его будущий тесть, говорил князь, столь блестяще владеет этим наречием, что сам он при любой дискуссии оказывается в невыгодном положении; кроме того... а кроме того, он произнес в разговоре со своей невестой слова, которые она нашла решительно самыми трогательными из всего, сказанного им до сих пор.

– Знаешь ли, я считаю его истинным *galantuomo*¹, «будьте уверены»! Вокруг полным-полно поддельных. Просто, по-моему, он лучший человек из всех, кого я видел в жизни.

– Что ж, милый, почему бы ему не быть таким? – весело ответила девушка.

Это-то и заставило князя призадуматься. Обстоятельства или, по крайней мере, большинство обстоятельств, сделавших мистера Вервера таким, каким он был, невольно заставляли пожалеть о том, сколько блестящих возможностей было растрачено практически впустую другими людьми из числа знакомых молодого человека, не сумевших достичь подобного результата.

– Ну, как сказать, – отозвался он, – ведь его «воспитание» могло бы, пожалуй, вызвать определенные сомнения.

¹ Дженгльмен (ит.). (Здесь и далее прим. перев.)

– Папино воспитание? – Она никогда не задумывалась об этом. – По-моему, он не получил ровно никакого воспитания.

– Не получил такого, как мое... И даже такого, как твое.

– «Даже» – вот спасибо! – рассмеялась девушка.

– О, душа моя, ты бесподобно воспитана. Но твой отец тоже по-своему человек воспитанный, это-то я понял. Так что не сомневайся. Вопрос в том, чего он добился благодаря этому.

– Он добился всего благодаря тому, что он такой хороший, – возразила на это наша юная дама.

– Ах, дорогая, думается мне, никто и никогда еще ничего не добился благодаря тому, что был хорошим. Быть по-настоящему хорошим – это такое качество, которое скорее мешает человеку добиться чего бы то ни было. – Князя забавляло, что собственные рассуждения настолько увлекли его. – Нет, все дело в его особом стиле. Это – его неотъемлемая черта.

Но девушка оставалась задумчивой.

– Это просто американский стиль, вот и все.

– Именно – вот и все! А я больше ничего и не говорю. Этот стиль ему подходит, а значит, на что-то он все-таки годится.

– Как ты думаешь, подойдет ли он тебе? – с улыбкой спросила Мегги Вервер.

На это у князя нашелся чрезвычайно удачный ответ:

– Если ты в самом деле хочешь это знать, так я думаю, душа моя, что мне уже ничто не может ни помочь, ни повредить – такому, какой я есть... Но ты сама увидишь. Скажем, по крайней мере, что я – *galantuomo*, на что смиренно уповаю; в лучшем случае я похож на цыпленка, которого ощипали, распотрошили, мелко нарезали и приготовили с соусом «де воляй»; твой же отец – природная птица, разгуливающая по двору. Перья, движения, кукареканье: все это – те составные части, которых я лишен.

– Ах, еще бы – ведь цыпленка невозможно съесть живьем!

Князь несколько не рассердился, но отвечал с большой решительностью:

– Ну, я-то как раз пытаюсь съесть твоего отца живьем, это единственный способ как следует его распробовать. И я намерен продолжать в том же духе, и поскольку особенно живым он бывает, когда говорит по-американски, то и я должен изучить этот диалект для полноты картины. Ни на каком другом языке он не мог бы нравиться так сильно.

Девушка продолжала отнекиваться, но это была лишь радостная игра.

– По-моему, он мог бы нравиться хоть на китайском.

– Это совершенно лишнее. Я хотел сказать, что он в каком-то смысле – продукт своей интонации, неотделимой от него самого. Следовательно, моя симпатия отдана интонации – без которой он не мог бы существовать.

– О, этого ты еще наслушаешься, – рассмеялась она, – прежде, чем с нами покончишь.

Эти слова, по правде говоря, заставили его слегка нахмуриться.

– Объясни, будь так добра, что ты имеешь в виду, говоря, что я с вами «покончу»?

– Ну, узнаешь о нас все, что только можно узнать.

Князь сумел воспринять это как легкую шутку.

– Ах, любовь моя, с этого я начал! Мне кажется, я узнал достаточно, чтобы ничему уже не удивляться. А вот вы, между прочим, – продолжал он, – ничего на самом деле и не знаете. Я сделан из двух частей. – Что-то словно толкало князя продолжать. – Одна складывается из истории, из поступков, браков, преступлений, капризов и бесконечных глупостей, сотворенных другими, позорно растратившими, среди прочего, все те деньги, которые могли бы достаться мне. Все это записано: в буквальном смысле записано в толстые книги, хранящиеся по библиотекам, и все это столь же общедоступно, сколь и отвратительно. Любой может ознакомиться с этими сведениями, и вы оба удивительным образом бестрепетно смотрели им в лицо. Но есть и другая часть, очень маленькая, конечно, по сравнению с первой, но такая,

какая есть, она представляет собою то, что отличает лично меня, что никому не известно и никому не интересно – никому, кроме вас. Вот об этом вы пока ничего не знаете.

– К счастью, милый, – отважно заявила девушка, – чем бы иначе могла я занять себя в будущем?

Молодой человек до сих пор вспоминал удивительную ясность – он не мог подобрать другого слова – всего ее прелестного облика, когда она это сказала. Вспоминал он и то, как ответил с волнением:

– Говорят, самые счастливые царствования – те, у которых нет истории.

– О, я не боюсь истории! – Она всегда была в этом уверена. – Считаю, что это худшая твоя часть, если хочешь, но, во всяком случае, очень заметная. Из-за чего же еще я и стала-то думать о тебе? – прибавила Мегги Вервер. – Уж наверное, ты заметил, что дело было вовсе не в том, что ты называешь своей неизвестной величиной, присущей только тебе. Нет, тут главное было – поколения твоих предков, безумства и преступления, грабежи и зверства, и злобный папа римский – главное чудовище, которому посвящено столько томов из вашей семейной библиотеки. Хотя я пока прочла всего два или три, но с тем большим увлечением займусь остальными, как только у меня будет на это время. А следовательно, – повторила она свой вопрос, – где бы ты был без этих своих архивов, анналов и позорного прошлого?

Князь вспоминал, как ответил очень серьезно:

– Возможно, я был бы в значительно лучшем финансовом положении.

Впрочем, его реальное положение в этом плане настолько мало их заботило, что князь, к тому времени до глубины души прочувствовавший свою удачу, не запомнил ответа девушки. Ответ этот всего лишь окрасил нежным оттенком сладостные воды, в которые князь был погружен, словно туда подлили некую ароматическую эссенцию из хрустального флакона с золотой пробкой. Еще никому из его предшественников, даже печально знаменитому папе римскому, не довелось сидеть по самую шею в подобной ванне. А это показывает, кстати говоря, что потому что столь древнего рода все-таки не дано уйти от истории. Разве не история, и притом именно их родовая история, стала той основой, благодаря которой ему теперь представлялась возможность распоряжаться такими деньгами, какие и не снились его прародителю – строителю дворца? На этой волне возносился он в упоительную высь, Мегги же при случае прибавляла в приятно плещущие струи одну-другую утонченно расцвеченную каплю. То был цвет... чего именно? Чего же еще, если не удивительной, чисто американской доверчивости? То был цвет ее невинности и в то же время – ее пылкого воображения, окрашивающий все его отношения с этими людьми. И вот сейчас мы показываем читателю, как молодой человек перебирает свои воспоминания об этом разговоре, и припоминается ему то, что он сказал затем, ибо это был голос его удачи, умиротворяющий и неизменный.

– Вы, американцы, романтичны до невероятности.

– Ну, конечно. Поэтому у нас все так хорошо.

– Все? – переспросил он с сомнением.

– Все, что вообще есть хорошего. Весь мир, такой прекрасный, – или все то, что прекрасно в этом мире. Я хочу сказать, мы столько всего видим.

Он взглянул на нее, думая о том, что сама она – одна из прекрасных, одна из прекраснейших вещей этого прекрасного мира. Но ответил он так:

– Вы слишком много видите, и это приводит иногда к большим осложнениям. По крайней мере, если не считать тех случаев, – поправился он, подумав, – когда вы видите слишком мало.

Но он не скрывал, что понимает ее мысль и что предостережение его было, пожалуй, излишним. В своей жизни князь достаточно повидал романтического вздора, но в этих людях как-то не было заметно ничего вздорного, ничего нельзя было поставить им в вину, кроме лишь невинных удовольствий – удовольствий, за которыми не следует наказания. Им доставляло радость воздавать должное окружающему без каких-либо потерь для себя самих. Забавно

только, заметил князь со всем подобающим почтением, что ее отец, хоть он и старше, и мудрее, и мужчина вдобавок, в этом отношении ничуть не лучше – то есть не хуже – ее самой.

– Ах, он гораздо лучше, – воскликнула она, – в смысле гораздо хуже. Он неисправимый романтик по отношению к тому, что он ценит в жизни – и, по-моему, это прекрасно. Вот и его приезд сюда – я не знаю, что может быть романтичнее.

– Ты имеешь в виду то, что он задумал для своего родного города?

– Да, коллекция, музей, который он хочет подарить городу, – ты же знаешь, он только этим и занят. Это труд всей его жизни. Все его поступки подчинены одной цели.

Молодой человек в своем теперешнем расположении духа готов был вновь улыбнуться, как улыбнулся ей тогда.

– Той же цели подчинено и его согласие на наш брак?

– Да, милый, безусловно, – по крайней мере, в каком-то смысле, – ответила она. – Между прочим, Америкэн-Сити – не его родной город. Город моложе его, хоть он и не стар. Но он там начинал, у него осталось чувство к этому городу, и город вырос, как говорит папа, наподобие своего рода благотворительной программы. А ты – часть его коллекции, – объяснила она, – один из тех предметов, которые можно приобрести только здесь, за океаном. Ты – редкость, диковинка, нечто очень красивое, очень ценное. Может быть, не совсем уникальное, но настолько выдающееся, что найдется очень немного равных тебе. Ты принадлежишь к досконально изученному разряду явлений. Ты, что называется, музейный экспонат.

– Понимаю. И, похоже, – отважился он, – я стою кучу денег.

– Понятия не имею, сколько ты стоишь, – серьезно ответила она, и он пришел в восторг от того, как она это сказала. На мгновение он даже сам себе показался вульгарным. Но постарался справиться с этим, как умел.

– А разве это не выяснилось бы, если бы пришлось расстаться со мной? В этом случае пришлось бы оценить мою стоимость.

Она окинула его взглядом своих чудесных глаз, словно его стоимость была для нее очевидна.

– Да, если ты имеешь в виду, чем я согласилась бы заплатить, лишь бы не потерять тебя. И снова он вспоминал свой ответ.

– Не говори обо мне – это ведь ты не из нашего века. Ты – существо из более утонченной и бесстрашной эпохи, ты не посрамила бы и Чинквеченто² в час его наивысшего золотого расцвета. А я его недостоин, и, если бы не знал кое-какие из экспонатов твоего отца, мог бы, пожалуй, опасаться, что знатоки раскритикуют Америкэн-Сити в пух и прах. Уж не планируешь ли ты, – спросил он затем с комически-жалобной гримасой, – отправить меня туда на хранение, для пущей надежности?

– Что ж, возможно, до этого еще дойдет.

– Я готов ехать, куда ты пожелаешь.

– Сперва посмотрим – это случится только при крайней необходимости. Некоторые вещи, – продолжала она, – разумеется, особо крупные и неповоротливые, папа оставляет, и очень многие уже оставил, на хранение здесь и в Париже, в Италии, в Испании, в хранилищах, сейфах, банках, в самых замечательных тайниках. Мы с ним словно парочка пиратов – таких, знаешь, театральных пиратов, которые подмигивают друг другу и говорят «Ха-ха!», приближаясь к тому месту, где зарыты их сокровища. Наши сокровища зарыты практически повсюду, кроме тех вещей, которые нам нравится постоянно видеть, держать их при себе во время своих поездок. Это предметы поменьше, мы их расставляем в гостиницах и в снятых на время домах, чтобы те стали, по возможности, не такими уродливыми. Конечно, это опасно, приходится следить за их сохранностью. Но папа очень любит красивые вещи – любит, как он говорит,

² Чинквеченто (Cinquecento) (ит.) – XVI век, расцвет итальянского Возрождения.

ради них самих, и готов рискнуть, лишь бы его окружали подобные предметы. До сих пор нам необычайно везло, – не преминула заметить Мегги, – у нас еще ни разу ничего не украли. А ведь самые лучшие вещи часто бывают очень маленькими. Ты, наверное, знаешь, что ценность вещи чаще всего никак не связана с ее размером. Но у нас ничего не пропало, – закончила она свою речь, – даже самого крошечного предмета.

Князь рассмеялся:

– Мне нравится, в какую категорию ты меня поместила! Я буду одним из мелких предметов, которые вы с отцом распаковываете, чтобы украсить гостиничный номер или комнату в снятом на время доме, вот вроде этой чудесной комнаты, – чтобы поставить на полку рядом с семейными фотографиями и свежими журналами. Во всяком случае, я не настолько велик, чтобы меня закопать.

– О, – отозвалась она, – мы тебя не закопаем, милый, пока ты жив. Разве что для тебя отправиться в Америкэн-Сити – все равно что похоронить себя заживо.

– Прежде, чем высказываться по этому поводу, хотелось бы увидеть свою могилу.

Таким образом, ему все-таки удалось оставить за собой последнее слово; словесное состязание на том и закончилось, если не считать одного замечания, которое просилось к нему на язык еще в начале разговора, но тогда он удержал эту реплику, которая теперь вернулась вновь.

– Я надеюсь, ты веришь одному, что касается меня, – не знаю, хорошее оно, плохое или никакое.

Даже ему самому эти слова показались чересчур торжественными, но Мегги ответила весело:

– Ах, не ограничивай меня, пожалуйста, только «одним»! Я во столько всего верю, что связано с тобой, – даже если большая часть меня разочарует, кое-что еще останется. Я уж об этом позаботилась. Я разделила свою веру на водонепроницаемые отсеки. Как-нибудь не потонем!

– Ты веришь, что я не лицемер? Ты понимаешь, что я никогда не лгу, не обманываю, не притворяюсь? Этот отсек, по крайней мере, достаточно водонепроницаемый?

Князь вспоминал, что этот вопрос, заданный с довольно сильным чувством, заставил ее на мгновение задержать на нем свой взгляд и вспыхнуть, как будто его слова прозвучали еще более странно, чем было задумано. Он сразу заметил, что всякий серьезный разговор о верности и правдивости, а точнее – об их отсутствии, заставлял Мегги врасплох, как будто для нее подобные мысли были совершенно новыми и непривычными. Он и раньше обращал на это внимание: то было чисто английское, чисто американское убеждение, что о сложных вещах, таких, как «любовь», можно говорить только в шутку. В подобные темы не следует «углубляться». Поэтому серьезный тон его вопроса прозвучал преждевременным, чтобы не сказать больше. Впрочем, подобный промах стоило совершить, хотя бы ради той чуть ли не преувеличенной шутливости, за которой она инстинктивно укрылась.

– Водонепроницаемый – самый большущий из отсеков? Да ведь там находится и каюта люкс, и главная палуба, и машинное отделение, и кладовка стюарда! Это, по сути, весь корабль и есть. Там и капитанский мостик, и весь багаж – хоть сейчас в плавание. – Она часто пользовалась такими сравнениями на пароходные и железнодорожные темы – это шло от близкого знакомства с самыми разными средствами сообщения, от опыта постоянных путешествий, в чем он пока не мог с ней тягаться; ему еще только предстояло освоиться с достижениями современной техники, и отчасти примечательность его положения состояла в том, что он способен был, не дрогнув, предвкушать обилие всевозможной механики в своем ближайшем будущем.

В сущности, хотя он был вполне доволен своей помолвкой, а невесту находил очаровательной, но главная «романтика» заключалась для него именно в этой своеобразной особенности, что придавало определенную контрастность состоянию его души, и князь был доста-

точно умен, чтобы сознавать это. Он был достаточно умен, чтобы ощущать глубокое смирение, чтобы стремиться избегать малейшей жесткости или прожорливости, не настаивать на тех или иных выгодах, короче – всячески остерегаться высокомерия и жадности. Довольно странно, по правде говоря, что он ощущал эту последнюю опасность – и это, помимо всего прочего, может служить хорошей иллюстрацией его воззрений на опасности, идущие изнутри. По мнению князя, сам он был лишен вышеупомянутых пороков, что весьма его радовало. Однако весь его род был ими наделен в полной мере, а князь постоянно ощущал неразрывную связь со своими предками, обретающимися в его сознании, подобно неотвязному аромату, пропитавшему его одежду, руки, волосы, все его существо, будто после погружения в некую химическую субстанцию – никаких конкретных проявлений ее воздействия не было заметно, и тем не менее князь все время ощущал свою незащищенность перед этим воздействием. Он прекрасно знал историю своего рода задолго до собственного рождения, знал во всех подробностях, и оттого источник воздействия не вызывал у него ни малейших сомнений. Князь спрашивал себя: если он осуждает все уродство своей семейной истории, что есть его осуждение, как не одна из сторон того смирения, которое он так тщательно в себе воспитывал? И что такое этот важнейший жизненный шаг, на который он только что решился, как не стремление положить начало новой истории, чтобы она, насколько это возможно, противоречила старой и даже попросту обесценила ее? Если доставшееся ему наследство никуда не годится, значит, нужно создать нечто совершенно иное. Он со всем смирением отдавал себе отчет в том, что материалом для такого созидания должны стать миллионы мистера Вервера. Больше ему не на что было рассчитывать; он уже пытался, но вынужден был посмотреть правде в лицо. При всем том он был не настолько уж смиренен, как если бы знал за собой какое-то особенное легкомыслие или глупость. У него была мысль, которая, возможно, позабавит историка, изучающего жизнь этого молодого человека: если уж ты настолько глуп, чтобы ошибиться в подобном вопросе, то неизбежно сознаешь это. Итак, он не ошибается: его будущее, возможно, будет связано с наукой. Во всяком случае, ничто в нем самом не исключает такого исхода. Он готов вступить в союз с наукой – ибо что есть наука, как не отсутствие суеверий при условии наличия денег? Жизнь его будет полна разнообразной механики, которая служит противоядием от суеверий, которые, в свою очередь, происходят от архивов, по крайней мере в качестве побочного продукта. Князь размышлял об этих вещах – о том, что он, во всяком случае, не совсем никчемная личность и принимает достижения века грядущего, – пытаясь этими раздумьями возместить перекося в восприятии себя самого своей будущей женой и ее отцом. Минутами он содрогался, ловя себя на мысли о том, что ему простили бы и полную никчемность. Для этих нелепых людей он был бы достаточно хорош даже и в таком виде. Настолько нетребователен верверовский романтизм! Они, бедняжки, и не ведают, что такое значит – быть по-настоящему никчемным. Он-то знал – он все это видел, испытал, измерил и ощутил на себе. В сущности, от этих воспоминаний следовало попросту отгородиться – вот точно так же, как только что на его глазах железная штора отгородила витрину рано закрывшейся лавки от затухающего летнего дня, с грохотом опустившись при повороте какого-нибудь там рычага. И снова его окружает механика, со всех сторон стеклянные витрины, деньги, власть, власть богатых людей. Что ж, он и сам теперь один из них, из богатых; он на их стороне или, в более приятной формулировке, они теперь на его стороне.

Нечто в этом духе бормотал он на ходу. Это было бы смешно, – подобная мораль из подобного источника, – если бы не соответствовало каким-то непонятным образом торжественности момента, той торжественности, давящее присутствие которой я попытался изобразить в начале своего рассказа. Также занимало его мысли намечавшееся в самом скором времени прибытие родичей. Он должен был встретить их на следующее утро на вокзале Чаринг-Кросс: младший брат – тот раньше старшего вступил в брак, но жена его, еврейской расы, однако с весомым приданым, достаточным, чтобы позолотить пилюлю, была по своему теперешнему положению лишена возможности путешествовать; сестра с мужем, самые англizierte

ванные из миланцев; дядюшка с материнской стороны, самый недееспособный из дипломатов; и кузен, проживающий в Риме, дон Оттавио, самый никому не нужный из родственников и бывших депутатов, – жалкая горстка единокровной родни, намеревавшаяся, несмотря на все мольбы Мегги о скромной свадьбе, сопровождать жениха к алтарю. Не слишком внушительный эскорт, но у самой Мегги, судя по всему, и того не наберется, ибо у нее, с одной стороны, не имеется достаточного количества родственников, а с другой – она не пожелала возместить их нехватку, приглашая на церемонию всех встречных и поперечных. Князь, заинтригованный таким подходом к делу, полностью ему покорился, усматривая в этом приятное свидетельство ее разборчивости, что весьма ему импонировало. Мегги объяснила, что у них с отцом нет близких родственников и не хочется заменять их искусственными, поддельными родичами, набранными с бору по сосенке. О, знакомых у них предостаточно, но брак – дело интимное. Если имеются родные, можно в придачу пригласить и знакомых, но нельзя приглашать только знакомых, лишь бы прикрыть наготу и создать видимость того, чего нет на самом деле. Она точно знала, что имеет в виду и чего хочет, а он был вполне готов подчиниться, видя и в том и в другом доброе предзнаменование. Он ожидал найти в ней сильную личность, он желал этого; такой и должна быть его жена, и он не боялся, что личность окажется чересчур сильной. В свое время ему случалось иметь дело с людьми, наделенными сильным характером, а именно с тремя-четырьмя деятелями церкви и прежде всего с кардиналом, своим двоюродным дедушкой, принимавшим активное участие в его воспитании и обучении; и ничего огорчительного для князя из этого не последовало. И потому он с радостью приветствовал проявления той же черты в характере девушки, которой предстояло стать для него самым близким человеком.

Итак, в настоящую минуту он испытывал такое ощущение, словно все бумаги у него находятся в полном порядке и счета подведены, как никогда прежде, остается только захлопнуть портфель. Несомненно, портфель этот сам собой раскроется вновь с приездом компании из Рима; может быть, даже раньше, нынче же вечером, во время обеда на Портленд-Плейс, где мистер Вервер раскинул свой шатер, подобно Александру Македонскому, окружившему себя богатствами, отнятыми у Дария. Но в данную минуту, как я уже говорил, князя занимало, чем заполнить два-три часа, находившиеся в его непосредственном распоряжении. Он останавливался на углах, у перекрестков; на него волнами накатывало ощущение, о котором шла речь в начале нашей повести, источник которого был ясен, в отличие от исхода, – ощущение, что необходимо что-то сделать для себя, пока еще не поздно. Расскажи он об этом кому-нибудь из своих друзей, его подняли бы на смех. Не для себя разве, не для собственного ли блага собирается он взять в жены невероятно привлекательную девушку, чье очарование сочетается с самыми ощутимыми «перспективами»? Уж конечно, не только ради нее. Впрочем, князь был настолько склонен ощущать, не формулируя, что вскоре перед его мысленным взором явственно проступил образ друга, чье отношение нередко оказывалось ироничным. Отрешившись от мелькающих вокруг лиц, князь сосредоточился на этом своем внезапном порыве. Молодость и красоту пропускал он мимо себя, даже не повернув головы, но образ миссис Ассингем в скором времени заставил его окликнуть ее. Ее-то молодость и красота в значительной мере ушли в прошлое, но застать ее дома (вещь вполне возможная) означало бы «сделать» наконец то, на что еще оставалось время, а именно – придать некую осмысленность своему беспокойному состоянию и, тем самым, может быть, избавиться от этого досадного чувства. Да что там – стоило князю признаться про себя, что предстоящее паломничество стоит затраченных на него усилий – она жила довольно далеко, на длинной Кадоган-Плейс, – как он сразу почувствовал себя спокойнее. Весьма уместно будет формально поблагодарить ее, причем именно сейчас, рассуждал князь сам с собой по дороге, – видимо, это его и тревожило. Правда, он было на мгновение неправильно истолковал этот импульс, истолковал его как побуждение смотреть в другую сторону – не в ту, которой адресовались взятые им на себя обязательства.

Миссис Ассингем как раз и олицетворяла собой те самые обязательства – эта симпатичная дама послужила направляющей силой, приведшей их в движение. Она заложила основу его брака, точно так же, как предок, папа римский, заложил основу всего его рода; впрочем, князь довольно смутно представлял себе, чего ради она это сделала, разве что опять-таки из какого-то извращенного романтизма. Князь ее не подкупал, не подговаривал, ничего не дал ей взамен, даже до сих пор не поблагодарил толком. Стало быть, если и была у нее, выражаясь вульгарно, какая-то корысть, то исключительно связанная с Верверами.

Но князь нашел в себе силы вспомнить, что он далек от мысли, будто миссис Ассингем получила банальное вознаграждение за свои хлопоты. Он абсолютно уверен, что ничего подобного не было, ибо если люди и вправду делятся на тех, кто берет подарки, и тех, кто не берет, то эта дама, безусловно, относится к правой стороне, к разряду гордецов. С другой стороны, в таком случае ее бескорыстие поистине чудовищно, ведь оно подразумевает бездонное доверие. Она замечательно дружески настроена по отношению к Мегги – можно даже сказать, что наличие такой подруги является для Мегги «даром судьбы», в числе прочих ее даров, но выразилась эта привязанность в том, что миссис Ассингем намеренно свела их вместе. Познакомившись с князем зимою в Риме, встретив его затем в Париже и с самого начала почувствовав к нему «симпатию», как она впоследствии откровенно ему рассказывала, миссис Ассингем мысленно предназначила его для своей юной подруги и, несомненно, в таком духе и представила его ей. Но симпатия по отношению к Мегги – вот в этом-то все и дело! – немногого бы стоила, не будь рядом симпатии к самому князю. На чем же основывалось это непрощеное и ничем не вознагражденное чувство? Что хорошего мог он для нее сделать? (Очень похожий вопрос возникал и в отношении мистера Вервера.) В представлении князя вознаградить женщину (равно как и вызвать у нее интерес) значило – ухаживать за нею. Он же, насколько мог судить, ни минуты не ухаживал за миссис Ассингем, и она, он был уверен, ни на минуту не вообразила себе этого. В те дни ему нравилось отмечать про себя женщин, за которыми он не ухаживал: он видел в этом приятный символ нового этапа своей жизни, в отличие от того времени, когда он любил отмечать именно тех, за кем ухаживал. И при всем при том миссис Ассингем никогда не подавала ни малейшего намека на злость или обиду. Да видела ли она в нем вообще хоть какие-нибудь недостатки? Трудно понять, что движет этими людьми, и оттого становится даже немного страшно; это усиливает ощущение загадочности – единственное, что омрачает его удачу. Он вспомнил, как читал в детстве удивительную повесть Аллана По, соотечественника его будущей жены, – вот, между прочим, доказательство, что и у американца может быть воображение, – повесть о Гордоне Пиме, который, потерпев кораблекрушение и дрейфуя в маленькой лодочке по воле волн, подплыл так близко к северному полюсу – или к южному? – как никто еще до него не плывал, и вдруг оказался перед стеной белого тумана, похожей на занавес из ослепительного света, скрывающего все вокруг, подобно непроглядному мраку, но по цвету напоминающего молоко или свежее выпавший снег. Минутами у князя появлялось чувство, что его лодка тоже приближается к подобному таинственному явлению. Состояние духа его новых друзей, и в том числе миссис Ассингем, во многом походило на огромный белый занавес. Он больше привык к пунцовым драпировкам, даже до черноты, занавешивающим нечто темное и зловещее. Если за ними скрывались какие-то сюрпризы, то сюрпризы эти чаще всего бывали сопряжены со значительными потрясениями.

Впрочем, сейчас его окружали совершенно иные глубины, не грозившие как будто никакими потрясениями. Другое озадачивало князя – подыскивая подходящее название, он определил бы эту неизвестную величину как избыток доверия по отношению к его собственной особе. Очень часто за прошедший месяц он с замиранием сердца вновь и вновь изумлялся тому, грубо выражаясь, какие надежды возлагают на него окружающие. Самое удивительное, что от него как будто не ждали каких-то определенных свершений, а скорее, просто-напросто с полной безмятежностью предполагали у него некие неназванные, но неисчислимы и необык-

новенные достоинства. Словно князь был старинной монетой удивительной чеканки и небывалого по чистоте золота, с великолепным средневековым гербом, «стоимость» которой, выраженная в современных соверенах и полукронах, достаточно велика, но говорить о стоимости подобных монет попросту неуместно, так как ценность их гораздо глубже и тоньше. Этот образ отражал для князя открывавшееся перед ним будущее: сделаться чьей-то собственностью, ценностью которой, однако, не исчерпывается стоимостью ее составных частей. А что это означает на практике, как не то, что ему никогда не придется проверить собственную стоимость? Как не то, что, пока его не «разменяют», ни он сам и ни кто-либо другой не сможет узнать, сколько он в состоянии предъявить фунтов, шиллингов и пенсов? В настоящую минуту ответа на эти вопросы не было и быть не могло. Одно только было ясно: ему приписывают какие-то качества. Его принимают всерьез. Где-то там, в белом тумане, скрывается присущая им серьезность; она-то и заставляет их относиться к нему соответственно. Этим качеством наделена даже миссис Ассингем, одаренная чуть более ехидным характером, что она не раз доказывала на деле. Пока князь мог сказать только одно: он еще не сделал ничего, что могло бы разрушить чары. А что будет, если сегодня вечером он спросит ее напрямик, что скрывается за непроницаемым покровом? Это, по сути, было бы все равно что спросить, чего от него ждут. Она, скорее всего, скажет: «Ах, тут дело, знаешь ли, в том, каким мы ожидаем тебя видеть!» – а уж на это ему ровным счетом нечего будет ответить, кроме как признаться в полном своем неведении по этому поводу. Может быть, тогда чары развеются – если он скажет, что не имеет ни малейшего представления? Да и откуда было взяться такому представлению? Он и сам относился к себе серьезно, очень серьезно, но ведь тут не просто капризы и претензии. Со своей самооценкой он бы так или иначе справился, а вот они, что бы там ни говорили, рано или поздно захотят испытать его на практике. А поскольку испытание на практике неизбежно находится в пропорции с нагромождением приписываемых ему достоинств, получаются такие масштабы, какие ему, во всяком случае, охватить не под силу. Кто, кроме миллиардера, может определить достойный эквивалент для миллиарда? Вот что на самом деле скрывается за таинственной завесой, но, выходя из кеба на Кадоган-Плейс, князь чувствовал, что немного приблизился к занавесу. И он дал себе слово по крайней мере попытаться отогнуть краешек.

2

– Сейчас не самое лучшее время, знаете ли, – сказал он Фанни Ассингем вслед за тем, как выразил свою радость по поводу того, что застал ее дома, а потом за чашечкой чая рассказал ей последние новости о документах, подписанных час тому назад высокими договаривающимися сторонами, и о телеграмме от родственников, которые прибыли накануне утром в Париж и от души радовались происходящему, бедняжечки.

– Мы по сравнению с вами люди простые, обыкновенная деревенская родня, – заметил он между прочим. – Для сестры с мужем Париж – это чуть ли не край света. А уж Лондон находится практически на другой планете. Для них Лондон – нечто вроде Мекки, как и для многих из нас, но нынче они впервые по-настоящему отправились с караваном в путь; до сих пор «старушка Англия» представлялась им преимущественно как своего рода лавка, торгующая изделиями из кожи и резины, в которые они и старались по возможности одеваться. А стало быть, вы увидите на их лицах бесконечные улыбки, на всех без исключения. Вы уж, пожалуйста, будьте с ними помягче. Мегги просто бесподобна и готовится с размахом. Непременно хочет, чтобы sposi³ и мой дядюшка поселились у нее. Остальные поедут ко мне. Я заказал для них комнаты в отеле – и это, кстати, напоминает мне о совершившейся час назад процедуре с торжественным подписанием всяческих важных бумаг.

– Неужели трусите? – спросила хозяйка дома со смехом.

– Ужасно трушу. Мне теперь остается одно: дожидаться, пока чудовище приблизится вплотную. Не лучшее время: болтаешься между небом и землей. Ничего еще не получил, но можешь все потерять. Мало ли что может случиться.

Она рассмеялась, и это на какую-то секунду вызвало у князя раздражение: ему почудилось, что смех доносится из-за белого занавеса. Иначе говоря, смех этот свидетельствовал о нерушимом душевном спокойствии миссис Ассингем и потому тревожил вместо того, чтобы успокаивать. А ведь князь для того и пришел сюда в своем мистическом нетерпении, чтобы его успокоили, умиротворили, дали всему происходящему такое объяснение, которое он мог бы понять и принять.

– Так значит, – спросила миссис Ассингем, – вы называете брак чудовищем? Признаю, брак – дело довольно страшное, и это в лучшем случае, но, бога ради, не убегайте от него, если у вас на уме бегство.

– О, убежать сейчас значило бы – убежать от вас, – отвечивал князь. – Я вам уже достаточно часто повторял, что целиком полагаюсь на вас: вы поможете мне достойно пережить все это. – Ему понравилось, как она восприняла его слова, сидя в уголке дивана, понравилось настолько, что он более развернуто оформил словами свой порыв откровенности – если это и в самом деле была откровенность. – Я отправляюсь в великое путешествие по морям неведомого; корабль мой снаряжен, снасти налажены, груз уложен в трюм и набрана команда. Но вся беда в том, что я, как видно, не могу пуститься в плавание в одиночку. Необходимо, чтобы корабль мой был одним из пары, чтобы в безбрежном океане его повсюду сопровождал – как бишь это называется? – консорт. Я не прошу вас находиться постоянно вместе со мной на палубе, но мне необходимо видеть перед собою ваши паруса, чтобы не сбиться с курса. Сам я, торжественно заверяю вас, не разбираюсь даже в показаниях компаса. Но я вполне в состоянии следовать за лоцманом. Вам придется быть моим лоцманом.

– А знаете вы разве, – спросила она, – куда я вас заведу?

– Да ведь до сих пор вы замечательно руководили мною. Без вас я бы и сюда не добрался. Вы снабдили меня кораблем и если не ввели за ручку на палубу, то, по крайней мере, велико-

³ Супруги (*ит.*).

душно проводили до самого дока. Ваш собственный корабль весьма кстати стоит у соседнего причала, вы не можете меня бросить на произвол судьбы в такой ответственный момент.

И снова она весело засмеялась – как показалось князю, даже чересчур весело; похоже, с удивлением заметил молодой человек, она тоже немного нервничает; короче говоря, она реагировала на его слова так, словно он не высказывал глубокие истины, а просто болтал всякий милый вздор для ее развлечения.

– Корабль, мой милый князь? – улыбнулась она. – Ну какой там у меня корабль? Этот маленький домик – вот и весь наш с Бобом корабль. Мы и за то благодарны судьбе. Мы долго бродили по свету, перебивались, можно сказать, с хлеба на воду, негде было даже голову преклонить. Но вот, наконец, пришло время нам отдохнуть.

На это молодой человек откликнулся возмущенным протестом:

– И вы говорите об отдыхе – какой эгоизм! А меня толкаете на разные авантюры!

Она ласково покачала головой.

– Не на авантюры, упаси бог! В вашей жизни их уже было довольно, так же, как и в моей; я уж с самого начала так задумала, чтобы нам с вами больше не затевать ничего подобного. Моя последняя авантюра как раз и состояла в том, чтобы оказать вам ту небольшую услугу, о которой вы сейчас так мило говорили. Но по сути, все очень просто: я лишь препроводила вас к месту вашего отдыха. Вы говорите: корабли; но это совсем неподходящее сравнение. Будет вам мотаться по волнам, вы уже практически в гавани. – И закончила: – В гавани Золотых Островов.

Он огляделся по сторонам, как бы стараясь поточнее определить свое местонахождение, и, поколебавшись, произнес, похоже, совсем не то, что собирался:

– Ах, я прекрасно знаю, где я! Я прошу и умоляю не покидать меня, но пришел я, конечно, чтобы поблагодарить вас. Если сегодня впервые передо мной забрезжил конец предварительным формальностям, то я, по крайней мере, глубоко сознаю, что без вас вообще ничего бы не было. Вы всему положили начало.

– Что ж, – сказала миссис Ассингем, – это было поразительно легко. Я ожидала гораздо больше трудностей, – улыбнулась она. – Вы, должно быть, заметили – все произошло просто-таки само собой. Так же и продолжается, вы не могли этого не заметить.

Князь поспешил согласиться:

– О да, все замечательно! Но замысел принадлежит вам.

– Ах, князь, так ведь и вам тоже!

Он пристально посмотрел на нее:

– Вы подумали об этом раньше. И думали больше.

Она встретила его взгляд с таким выражением, словно он ее озадачил.

– Идея мне нравилась, если вы это хотите сказать. Но она, несомненно, вам и самому нравилась. Я утверждаю, что мне не пришлось вас долго уговаривать. Единственно, мне пришлось высказаться за вас, когда настало время.

– Так-то оно так, но теперь вы все же меня покидаете. Вы умываете руки, – продолжал князь. – Но это так легко не пройдет; я не позволю вам меня бросить. – И он снова обвел взглядом красивую комнату, которую она называла своим последним прибежищем, местом отдохновения уставшей от мира четы, где ищет она покоя вместе со своим «Бобом». – Я буду помнить про этот уголок. Что бы вы там ни говорили, вы мне еще понадобятся. Знаете ли, – торжественно объявил князь, – я вас ни на кого не променяю.

– Если вы боитесь, – а это, конечно, неправда, – зачем и меня стараетесь напугать? – спросила она, помолчав.

Он тоже помолчал с минуту, затем ответил вопросом на вопрос:

– Вы сказали, вам «нравилась» эта затея – сделать возможной мою помолвку. Я неизменно преклоняюсь перед вами за то, что вы ее осуществили, это прекрасно и незабываемо. Но еще больше – удивительно и загадочно. Почему, милая, чудная, почему вам это так нравилось?

– Даже не знаю, как отнестись к вашему вопросу, – ответила она. – Если вы до сих пор не поняли этого сами, что могут значить любые мои слова? Да разве же вы не чувствуете, – прибавила она, видя, что он безмолвствует, – разве не сознаете каждую минуту, какое совершенное существо вам досталось, моими трудами?

– Каждую минуту сознаю с благодарностью. Но в этом-то и суть моего вопроса. Вы не только ради меня трудились, но и ради нее тоже. Вы решили ее судьбу, не только и столько мою. Вы цените ее так высоко, как вообще женщина может ценить другую женщину, и при этом, по вашим же собственным словам, вам было приятно способствовать тому, что связано с большим риском для нее.

Пока он говорил, она не отрывала от него взгляда, и в конце концов повторила свои прежние слова:

– Вы стараетесь меня напугать?

– Ах, что за глупость – это было бы слишком вульгарно. Очевидно, вы не понимаете ни моих благих намерений, ни моего смирения. Я до ужаса смиренен, – заявил молодой человек, – я чувствую это сегодня весь день, с тех пор, как все приготовления пришли к окончательному завершению. А вы упорно не принимаете меня всерьез.

Она по-прежнему пристально смотрела ему в лицо, как будто он в самом деле слегка ее встревожил.

– Ах вы, древние, глубокомысленные итальянцы!

– Вот-вот, – живо откликнулся он, – этого я от вас и добивался. Теперь вы настроились более ответственно.

– Да уж, – подхватила она, – если вы «смиранны», то, должно быть, очень опасны. – Она помолчала; князь только улыбался. Потом сказала: – Я совершенно не намерена терять вас из виду. Но если бы даже это и случилось, по-моему, это было бы правильно.

– Благодарю вас, я только того и добивался. Все-таки я уверен, что с вами мне легче будет понять. Это единственное, чего мне не хватает. Я считаю себя человеком, замечательным во всех отношениях, кроме одного – я тупой. Я могу сделать практически все, что понимаю. Но сначала я должен понять. – И далее он пояснил: – Я нисколько не возражаю против того, чтобы мне объясняли и показывали. На самом деле, это мне даже нравится. Потому-то мне так необходимы и всегда будут необходимы ваши глаза. Вашими глазами я хочу смотреть, пусть даже с риском, что они покажут мне такое, что мне не понравится. Ведь тогда, – закончил он свою речь, – я буду знать. А то, что знаешь, не страшно.

Миссис Ассингем, очень может быть, только и ждала – к чему он в конце концов придет, но заговорила она несколько нетерпеливо:

– О чем это вы толкуете?

Но он ответил не моргнув глазом:

– О том, что я честно и откровенно боюсь в один прекрасный день «промахнуться», сделать что-нибудь не то, даже не зная об этом. Именно в этом я всегда буду рассчитывать на вас – вы будете мне говорить, на каком я свете. Нет-нет, у вас, англичан, на этот счет какое-то чутье. А у нас нет. А если и есть, то не такое, как у вас. А потому... – Но с него было уже довольно, и он просто улыбнулся. – Ecco tutto!⁴

Не приходится скрывать, что князь пустил в ход все свое обаяние, но ведь он и всегда ей нравился.

⁴ Вот так! (ит.)

– Было бы очень интересно, – заметила она через минуту, – отыскать такое чутье, которым вы не обладаете.

Князь тут же привел пример, не сходя с места:

– Нравственное чутье, дорогая миссис Ассингем. Опять-таки в том виде, как вы его себе представляете. Я, разумеется, не лишен чего-то такого, что у нас, в милом дряхлом провинциальном Риме, успешно сходит за мораль. Но она так же непохожа на вашу, как винтовая каменная лестница, полуразрушенная к тому же, в каком-нибудь замке эпохи Кватроченто⁵–на скоростной лифт в одном из пятнадцатипятиэтажных небоскребов мистера Вервера. Ваше нравственное чувство приводится в действие паровой машиной и мгновенно поднимает вас ввысь, словно ракета. А наша лесенка – трудная, крутая, неосвещенная, и столько не хватает на ней ступенек, что почти в любой ситуации гораздо проще бывает повернуть назад и тихонечко спуститься обратно.

– Рассчитывая, – улыбнулась миссис Ассингем, – подняться наверх каким-нибудь другим способом?

– Да-а... или вовсе не подниматься. Впрочем, – прибавил он, – об этом я предупреждал вас с самого начала.

– Макиавелли! – только и воскликнула она.

– Слишком много чести, сударыня. Будь у меня и вправду его гений! Хотя, если бы вы и в самом деле считали меня настолько изощренным, то не сказали бы об этом. Но это ничего, – закончил он довольно жизнерадостно. – Главное, что я всегда могу обратиться к вам за помощью.

Засим они на несколько мгновений застыли, глаза в глаза; после чего миссис Ассингем спросила, воздержавшись от каких бы то ни было комментариев, не хочет ли князь еще чаю. Сколько угодно, отвечал он с готовностью, и затем насмешил ее, подробно развивая свою мысль, что у англичан чай подобен морали, которая у них «заваривается» кипятком в маленьком чайничке, так что чем больше пьешь, тем более высоконравственным становишься. Его балагурство послужило «мостиком», чтобы переменить тему, и миссис Ассингем принялась расспрашивать князя о его сестре и остальных, и, в частности, о том, что может сделать ее муж, полковник Ассингем, для прибывающих джентльменов, с которыми он готов немедленно увидеться, с позволения князя. Князь принялся шутить по поводу своей родни, рассказывал разные разности об их привычках, пародировал их манеры и делал предсказания насчет их поведения, утверждая, что таких ярких представителей стиля рококо еще не видали на Кадоган-Плейс. Миссис Ассингем объявила, что полюбит их за это без памяти, на что гость, в свою очередь, ответил новыми излияниями на тему о том, как приятно иметь возможность во всем рассчитывать на нее. К этому времени он пробыл у нее минут двадцать; но раньше ему случилось задерживаться здесь гораздо дольше, а потому он и сейчас остался, как бы в знак своего почтения. Больше того, он остался, – вот истинный показатель значительности этой минуты, – невзирая на то нервно-тревожное состояние, которое пригнало его сюда и которое проявленный ею скептицизм не столько успокоил, сколько растравил еще больше. Успокоить его миссис Ассингем не сумела; весьма примечательна была минута, когда причина подобной неудачи на мгновение выглянула наружу. Князь не напугал ее, как она выразилась, – он чувствовал это совершенно отчетливо. Но ей было явно не по себе. Она нервничала, хотя и пыталась это скрыть. Она заметно растерялась, когда князь вошел в комнату вслед за тем, как было положено о его приходе. Молодой человек убеждался в этом все больше и яснее, но отчего-то был доволен. Словно, придя сюда, он поступил даже более удачно, чем думал. Почему-то было важно – в этом-то все и дело! – чтобы в эту минуту миссис Ассингем чувствовала себя не в своей тарелке, чего не случалось с нею ни разу за все время их уже довольно долгого знакомства.

⁵ Кватроченто (Quattrocento) (ит.) – XV век.

Наблюдая и выжидая, князь начинал ощущать, что ему и самому отчасти не по себе, так как и его сердце понемногу забилося в лихорадочном ритме – очень странно, ведь повод-то самый ничтожный. В конце концов, когда напряжение достигло высшей точки, они почти бросили притворяться – то есть обманывать друг друга при помощи внешней формы. Невысказанное поднялось на поверхность, и наступила критическая минута, – никто из них не мог бы сказать, как долго это продолжалось – когда они не произносили ни слова и лишь смотрели друг на друга в упор совершенно недопустимым образом. Можно было подумать, что они на пари играют в «молчанку», позируют фотографу или даже разыгрывают живую картину.

Стоило бы посмотреть на эту сцену какому-нибудь постороннему зрителю! Он, возможно, по-своему истолковал бы это глубинное общение без слов или хотя бы получил чисто эстетическое удовольствие, удовлетворив столь ценное в наши дни чувство стиля – а это в наши дни почти то же самое, что и чувство прекрасного. Во всяком случае, нельзя отказать в наличии стиля темноволосой, аккуратно причесанной головке миссис Ассингем, чьи тугие черные кудри были уложены в такое множество рядов, что соответствовали последней моде даже больше, чем ей хотелось бы. Относясь весьма настороженно ко всему, что бросается в глаза, она тем не менее вынуждена была мириться со своей яркой внешностью и по мере сил справляться с собственным обликом. Насыщенные краски, внушительный нос, черные, словно у актрисы, брови – все это вкупе с пышной фигурой, на которой уже заметна была печать «среднего возраста», придавало ей вид одной из дочерей юга или даже скорее востока, создания из мира гамаков и диванов, вскормленного шербетом и привыкшего повелевать толпами покорных рабов. Глядя на нее, можно было подумать, что ей в жизни не приходилось ничего делать, кроме как перебирать струны мандолины, раскинувшись среди подушек, или угощать любимую газель засахаренными фруктами. На самом же деле миссис Ассингем не была ни капризной еврейкой, ни томной креолкой; Нью-Йорк породил ее, а воспитала неизменная «Европа». Одевалась она в желтое и лиловое, утверждая, что лучше уж выглядеть похожей на царицу Савскую, чем на *revendeuse*⁶; по той же причине она носила жемчуг в волосах и надевала к вечернему чаю алое с золотом платье, исходя из теории о том, что сама природа дала ей кричащую внешность, и следовательно, раз уж себя переделать невозможно, остается только заглушать собственную экзотичность экзотичностью одежды. И потому вся она была увешана и кругом обставлена всевозможными безделушками, явно поддельными, с удовольствием развлекала этим своих друзей. Друзья же охотно играли с ней в эту игру, основанную на различии между внешностью и характером. Характер живо отражался в сменяющихся друг друга выражениях ее подвижного лица, убеждая наблюдателя в том, что она отнюдь не пассивно воспринимает все смешное в этом мире. Она наслаждалась теплой дружеской атмосферой, она жить без этого не могла, но из-под иерусалимских век смотрели глаза уроженки большого американского города. Одним словом, при всей своей поддельной праздности, поддельном безделье, поддельных жемчугах, пальмах, двориках и фонтанах была она человеком, для которого жизнь состоит из бесчисленных мелких подробностей, и подробности эти могла перебирать без конца, бесстрашно и неутомимо.

«Пусть я покажусь чересчур утонченной», – ее любимая присказка, – тем не менее она была неизменно готова сочувствовать другим. Это было для нее безотказным способом занять себя и (опять-таки по ее собственному выражению) не давало закисать. В ее жизни имелось два зияющих пробела, которые следовало чем-то заполнить, и она сама говорила, что собирает в эти дыры обрывки светских знакомств, как пожилые дамы в Америке во времена ее молодости собирали в корзинки обрезки тканей, чтобы затем соорудить из них лоскутное одеяло. Одним из этих пробелов, нарушающих идеальную завершенность миссис Ассингем, было отсутствие детей; другим – недостаток богатства. Удивительно, но ни то ни другое совсем не бросалось в

⁶ Перекупщица (*фр.*). 2 Г. Джеймс 33 «Золотая чаша»

глаза. Сочувствие и любопытство помогли ей относиться к объектам своего интереса практически как к собственным детям; равным образом муж-англичанин, в период военной службы «заправлявший хозяйством» в своем батальоне, умел заставить домашнюю экономию расцвести пышным цветом, подобно розе. Полковник Боб через несколько лет после женитьбы оставил службу в армии, исчерпав, очевидно, все возможности обогащения собственного жизненного опыта в ее рядах, и мог теперь целиком посвятить себя вышеупомянутой разновидности садоводства. Среди младшего поколения друзей этой парочки ходила легенда, настолько древняя, что она уже не подлежала никакой критике, будто сам этот в высшей степени удачный брак совершился на заре времен, когда девушки из Америки еще не считались «приемлемыми»; так что эта приятная чета проявила незаурядную смелость и оригинальность, вследствие чего могла теперь, на склоне лет, пользоваться славой своего рода первооткрывателей брачного Северо-Западного пути⁷. Про себя-то миссис Ассингем прекрасно знала, что ничего они не открыли: за многовековую историю, начиная с Покахонтас, не было ни дня, чтобы какой-нибудь английский юноша не потерял голову, а какая-нибудь американская девушка ничтоже сумняшеся не ответила на его чувство; но наша милая дама охотно принимала лавры первопроходца, ведь, в конце-то концов, она и вправду была на деле старейшиной ныне живущих представителей этого племени переселенцев женского пола, а главное – иные из подобных комбинаций и впрямь были делом ее рук, хотя и не в случае с Бобом. То была исключительная заслуга самого Боба, он додумался до нее совершенно самостоятельно, начиная с первого проблеска удивительной идеи, и во все последующие годы находил в этом неопровержимое доказательство своего умственного превосходства. А если и жена его проявляет недюжинный ум, так тем больше ему чести. Временами она и сама чувствовала, что он никак не мог допустить в ней какой бы то ни было ограниченности. Но истинное испытание для ума миссис Ассингем наступило, когда ее сегодняшний гость в конце концов произнес:

– Знаете, по-моему, вы плохо со мной обращаетесь. У вас есть что-то на душе, а вы мне ничего не рассказываете.

Следует также признать, что ее ответная улыбка оказалась, вне всякого сомнения, несколько неопределенной.

– Разве я обязана рассказывать вам все, что у меня на душе?

– Речь идет не обо всем, а только лишь о том, что может непосредственно касаться меня. Таких вещей вы не должны от меня скрывать. Вы же знаете, я хочу действовать чрезвычайно осторожно, все учитывать, чтобы не совершить невзначай ошибки, которая могла бы задеть ее.

На это миссис Ассингем после маленькой заминки по какой-то непонятной причине переспросила:

– Ее?

– Ее и его. Обоих наших друзей. Мегги и ее отца.

– Меня и в самом деле кое-что беспокоит, – ответила через минуту миссис Ассингем. – Случилось нечто неожиданное. Но к вам все это, строго говоря, не имеет отношения.

Князь немедленно расхохотался, откинув голову назад.

– Что значит «строго говоря»? Мне в этом видится бездна смысла. Так выражаются люди, которые... которые выражаются неправильно. А я выражусь правильно. Что же такое случилось, связанное со мной?

Хозяйка дома тут же подхватила его интонацию.

– Ах, я буду только рада, если вы возьмете на себя свою долю. Шарлотта Стэнт в Лондоне. Только что приезжала ко мне.

⁷ Северо-Западный морской путь соединяет Атлантический океан с Тихим, впервые пройден Амундсеном в 1903–1906 гг.; попытки открытия пути велись в течение многих лет до описываемых событий.

– Мисс Стэнт? Да что вы говорите? – Князь недвусмысленно выразил удивление, встретившись со своей приятельницей взглядом, в котором сквозило довольно ощутимое потрясение. – Она приехала из Америки? – спросил он быстро.

– Видимо, она приехала сегодня в полдень из Саутгемптона и остановилась в гостинице. Она заехала ко мне после ланча и просидела больше часа.

Молодой человек слушал с интересом, хотя и не настолько сильным, чтобы от этого пострадала его веселость.

– Так вы думаете, что в этом событии есть и моя доля? Какая же именно?

– Да какая хотите – вы ведь так настаивали, чтобы я с вами поделилась.

В ответ князь посмотрел на нее, сознавая всю нелогичность собственных слов, и миссис Ассингем заметила, что он покраснел. Но говорил он все так же небрежно.

– Ну, это я еще не знал, о чем речь.

– Не думали, что дело настолько плохо?

– По-вашему, дело очень плохо? – спросил молодой человек.

– Я сужу по тому, как это подействовало на вас, – улыбнулась миссис Ассингем.

Он колебался, по-прежнему чуть раскрасневшись, по-прежнему не сводя с нее глаз, все еще не совсем придя в себя.

– Но вы признались, что обеспокоены.

– Да... Просто потому, что я ее совсем не ждала. Я думаю, – сказала миссис Ассингем, – что и Мегги ее не ждала.

Князь задумался; потом как будто обрадовался, что можно наконец сказать нечто абсолютно естественное и правдивое:

– Да, вы правы. Мегги ее не ждала. Но я уверен, – прибавил он, – что Мегги будет очень рада ее видеть.

– Это уж наверняка, – отвечала хозяйка дома с какой-то новой серьезностью.

– Она будет просто в восторге, – продолжал князь. – Мисс Стэнт от вас поехала к ней?

– Она поехала к себе в гостиницу, чтобы перевезти сюда свои вещи. Я не могла допустить, – сказала миссис Ассингем, – чтобы она оставалась одна в гостинице.

– Да, я понимаю.

– Раз уж она приехала, нужно, чтобы она жила у меня.

Князь осмыслил ее слова.

– Так она вот-вот явится сюда?

– Я жду ее с минуты на минуту. Если подождете, вы ее увидите.

– О, очаровательно! – тут же откликнулся князь, но слово это прозвучало так, словно им в последнюю минуту заменили нечто совсем другое. Оно показалось случайным, тогда как князь хотел, чтобы прозвучало твердо. Соответственно, он постарался проявить твердость в своих следующих словах. – Если бы не то, что должно произойти в ближайшие дни, Мегги, конечно, пригласила бы ее к себе.

Собственно говоря, – продолжал он простодушно, – все происходящее как раз дает причину для приглашения, разве нет?

Миссис Ассингем вместо ответа молча смотрела на него, и это, видимо, подействовало сильнее, чем любые слова, поскольку он задал, казалось бы, довольно непоследовательный вопрос:

– Зачем она приехала?

Его собеседница рассмеялась.

– Ну как же, именно за тем, о чем вы сейчас говорили. На вашу свадьбу!

– Мою? – удивился он.

– На свадьбу Мегги – это одно и то же. Приехала на ваше с Мегги великое событие. И потом, – сказала миссис Ассингем, – она ведь так одинока.

– Она назвала это в качестве причины?
– Право, не помню. Она привела столько разных причин. Бедняжка, у нее их предостаточно. Но одну я помню всегда без всяких напоминаний.

– Какую же? – У князя был такой вид, словно он должен бы догадаться, но не может.

– Да просто тот факт, что у нее нет дома – совершенно никакого дома. Она необычайно одинока.

Князь снова осмыслил ее слова.

– А также нету средств к жизни.

– Очень мало. Это-то, впрочем, не причина ей носиться туда-сюда по свету, при нынешних ценах на поезда и отели.

– Совсем наоборот. Но она не любит свою страну.

– Свою, дорогой мой друг? Какая же это «ее» страна! – Притяжательное местоимение, видимо, рассмешило хозяйку дома. – Она поехала туда и тут же вернулась, а там ей особенно нечего делать.

– Ах, сказав «ее», я с тем же успехом мог бы назвать эту страну моей, – светским тоном пояснил князь. – Уверяю вас, я уже чувствую, что этот великий континент в большей или меньшей степени принадлежит мне.

– Ну, это ваша точка зрения и ваше везение. Вам принадлежит – или скоро будет, по сути, принадлежать – весьма немаленькая часть этой страны. А у Шарлотты, по ее словам, нет никакого имущества в этом мире, за исключением двух огромнейших чемоданов – я разрешила ей перевезти сюда только один из них. Она обесценит в ваших глазах ваше богатство, – прибавила миссис Ассингем.

Он думал об этом, он думал обо всем, но воспользовался своим всегдашним выходом из положения – обратить все в шутку.

– Она приехала с коварными планами на мой счет? – И, словно почувствовав, что получилось все-таки чересчур серьезно, попытался заговорить о том, что как можно меньше касалось бы его самого: – *Est-elle toujours aussi belle?*⁸

Почему-то это казалось самой нейтральной темой в связи с Шарлоттой Стэнт.

Миссис Ассингем откликнулась вполне охотно:

– Она нисколько не изменилась. Вот человек, чья внешность, на мой взгляд, лучше всего воспринимается окружающими. Ею все восхищаются, кроме тех, кому она почему-либо не нравится. Ну и, конечно, ее критикуют.

– Ах, это несправедливо! – сказал князь.

– Критиковать ее? Ну, вот вам и ответ.

– Вот мне и ответ. – Он комически изобразил послушного ученика, успешно прикрыв минутное смущение демонстрацией благодарной покорности. – Я всего-навсего хотел сказать, что лучше, пожалуй, не относиться к мисс Стэнт критически. Когда кого-нибудь критикуешь, стоит только начать... – Он великодушно не закончил фразу.

– Вполне согласна с вами – лучше от этого воздерживаться, пока можно. Но если уж приходится...

– Да? – спросил он, поскольку она замолчала.

– Нужно по крайней мере знать, что у тебя на уме.

– Понимаю. А может быть, – улыбнулся он, – я сам не знаю, что у меня на уме.

– Вот как раз сейчас-то вам бы уж надо это знать. – Но миссис Ассингем не стала больше распространяться об этом, видимо устыдившись собственного тона. – Разумеется, вполне понятно, что она захотела приехать, ведь они с Мегги такие близкие подруги. Она поступила необдуманно, но совершенно бескорыстно.

⁸ Она все так же красива? (*фр.*)

– Она поступила прекрасно, – сказал князь.

– Я говорю «бескорыстно» в том смысле, что она не посчиталась с расходами. Теперь ей придется, во всяком случае, их подсчитать, – продолжала миссис Ассингем, – но это не имеет значения.

Князь вполне понимал, как мало значения имеют в данном случае подобные вещи.

– Вы о ней позаботитесь.

– Я о ней позабочусь.

– Значит, все в порядке.

– Все в порядке, – сказала миссис Ассингем.

– Так о чем же вы беспокоитесь?

Она вскинулась, но лишь на мгновение.

– Я ни о чем не беспокоюсь – не больше вашего.

Темно-голубые глаза князя были очень красивы и в эту минуту больше всего на свете напоминали высокие окна на фасаде римского дворца работы одного из величайших старых архитекторов, распахнутые праздничным утром навстречу золотистому воздуху. В такие мгновения он сам походил на картину, на портрет какого-нибудь аристократа, который величественно возникает в окне под приветственные клики собравшейся толпы, опираясь на подоконник, застланный драгоценными старинными тканями, – является не ради себя самого, но ради своих восхищенных подданных: нужно же им хоть изредка полюбоваться, разинув рот, на своего повелителя. Вот точно так же в выражении лица молодого человека возникало нечто живое, очень конкретное – отражение некой замечательной личности, истинного князя, правителя, воина, покровителя, одним своим появлением озаряющего великолепную архитектуру, придавая ей цель и смысл. Кто-то удачно сравнил эту особенность его лица с явлением призрака одного из самых гордых его предков. Кто бы ни был сей предок, в настоящую минуту князь как раз вышел к народу, то бишь к миссис Ассингем. Казалось, он осматривает панораму сияющего дня, облокотившись на узорчатые алые шелка. Он казался моложе своих лет; он смотрел рассеянно и невинно. Голос его зазвенел:

– Ах, я-то ничуть не беспокоюсь!

– Еще бы вы беспокоились, сэр! – откликнулась она. – У вас нет ни малейшего повода для беспокойства.

Он искренне согласился, что отыскать подходящий повод было бы чрезвычайно трудно. Они так старались убедить друг друга в незамутненном спокойствии своей души, словно только что избежали опасности безвозвратно его утратить. Вот разве что, установив столь отрад-ный факт, неплохо было бы миссис Ассингем как-то объяснить свою довольно оригинальную манеру в начале беседы, и она заговорила об этом прежде, чем они сменили тему.

– Мое первое побуждение – относиться ко всему на свете таким образом, как будто я боюсь различных осложнений. Но я их не боюсь – на самом деле я люблю осложнения. Это моя стихия.

Князь не стал оспаривать такую трактовку. Сказал только:

– А если никаких осложнений нет?

Она возразила:

– Когда красивая, умная, необычная девушка приезжает погостить, это всегда осложнение.

Молодой человек взвесил ее слова, точно подобная постановка вопроса была для него совершенно нова.

– И долго она собирается гостить?

Его приятельница рассмеялась:

– Откуда я знаю? Вряд ли я могла ее об этом спросить.

– О, да. Вы не могли.

Но что-то в его тоне вызвало у нее новый приступ веселья.

– А вы, по-вашему, могли?

– Я? – Он задумался.

– Не могли бы вы вызнаться у нее, для меня, – долго ли она намерена здесь пробыть?

Князь доблестно принял вызов.

– Пожалуй, если вы дадите мне такую возможность.

– Вот вам ваша возможность, – отозвалась миссис Ассингем, ибо в эту самую минуту услышала, как у дверей дома остановился кеб. – Она вернулась.

3

Это было сказано в шутку, но пока они в молчании ждали появления своей знакомой, молчание мало-помалу навело серьезность, и серьезность эта не рассеялась, даже когда князь снова заговорил. Все это время он был занят тем, что обдумывал сложившуюся ситуацию и принимал решение. Когда красивая, умная, необычная девушка приезжает погостить, это и вправду осложнение. Тут миссис Ассингем права. Но есть и другое: добрые отношения между обеими девушками еще со школьных дней и очевидная уверенность приехавшей в уместности своего появления.

– Знаете, она в любой момент может переехать к нам.

Миссис Ассингем отозвалась на его слова с иронией, не снисходящей до смеха:

– Вы хотели бы, чтобы она сопровождала вас в свадебном путешествии?

– О нет, на это время вы должны приютить ее у себя. А вот после – почему бы и нет?

Хозяйка дома с минуту молча смотрела на него; затем в коридоре послышался голос, и они встали.

– Почему нет? Вы неподражаемы!

В следующее мгновение перед ними появилась Шарлотта Стэнт. Дворецкий встретил ее при выходе из экипажа и, как видно, своим ответом на вопрос, заданный на лестнице, предупредил ее о том, что миссис Ассингем не одна. Она не смотрела бы на эту леди так прямо и жизнерадостно, если бы не знала заранее, что и князь тоже здесь, – это продолжалось всего лишь мгновение, но позволило князю рассмотреть ее лучше, чем обернись она сразу же к нему. Он прекрасно подмечал все эти детали и не преминул воспользоваться представившимся случаем. Таким образом, на несколько секунд его обозрению была явлена высокая, полная сил, очаровательная девушка, показавшаяся по первому впечатлению воплощением своей полной приключений жизни; все в ней – движения, жесты, живой и яркий, и в то же время чрезвычайно удачный, наряд, от аккуратной шляпки, которая была ей удивительно к лицу, до оттенка рыжевато-коричневых башмаков, – все говорило о таких вещах, как волны и ветер, и таможни, далекие страны и долгие путешествия, умение справляться с дорожными трудностями и рожденная опытом привычка к бесстрашию. В то же время он понимал, что в основе всего этого лежит отнюдь не тип «волевой» женщины, как можно было бы ожидать. Он за свою жизнь повидал довольно англоязычных дам и внимательно проанализировал достаточно подобных характеров, чтобы сразу же заметить разницу. Кроме того, у него уже была возможность составить представление о силе характера этой молодой леди. Имелись основания предполагать, что сила эта велика, но ни в коем случае не в ущерб игре ее неповторимого, неизменно занятого личного вкуса. Это качество в настоящую минуту сверкало, подобно лучу света, – возможно, она сознательно пустила его в ход, чтобы успокоить встревоженные глаза князя. Он видел ее в сиянии этого света: обращаясь исключительно к хозяйке дома, она словно поднимала над собой лампу, зажженную исключительно ради него. В этом свете ему было видно все, и прежде всего – что она существует в мире одновременно с ним самим и так непоправимо близко; факт, выступивший вдруг резко и четко, даже более четко, чем факт его предстоящей женитьбы, хотя и вкупе с другими моментами, мелкими, второстепенными, с теми особенностями лица и внешности, о которых говорила миссис Ассингем как о предмете для критики. Таковы они и были, увиденные им вновь и тем самым немедленно утверждающие свою связь с ним. Строгий критический разбор, во всяком случае, сблизает. Безусловно, у него могло составить лишь одно мнение на этот счет, ввиду всего уже известного.

Итак, если обратиться к неуклюжим количественным меркам, лицо у нее было слишком узкое и слишком длинное, глаза невелики, зато рот никак не назовешь маленьким: полные губы и крепкие, самую чуточку выступающие вперед зубы – впрочем, ровные и ослепительно-белые.

Но странное дело, сейчас он воспринимал эти черты Шарлотты Стэнт как будто свое собственное имущество, словно набор предметов из длинного перечня, которые были надолго убраны «на хранение» в шкаф, упакованные и надписанные. Пока она разговаривала с миссис Ассингем, дверца шкафа сама собой приоткрылась; князь вынимал памятные сувениры один за другим, и с каждой минутой все сильнее казалось, что она специально дает ему на это время. Он снова увидел, что ее пышные волосы можно, шаблонно выражаясь, назвать каштановыми, но при «критическом разборе» в них становился заметен рыжеватый оттенок осенних листьев – совершенно неопиcуемый цвет, которого князь не встречал больше ни у кого, минутами придававший ей сходство с лесной охотницей. Он видел рукава ее жакета, закрывающие запястья, но опять-таки различал, что руки под слоем ткани круглы и грациозны той сверкающей стройностью, которую так любили флорентийские скульпторы великой эпохи, выражая ее зримую упругость в своем старом серебре и старой бронзе. Он знал ее узкие ладони, знал длинные пальцы, цвет и форму ногтей, знал особую красоту ее движений, плавную линию спины, идеальную слаженность всех составных частей, словно у какого-то удивительно изысканного музыкального инструмента, у предмета, созданного для выставок и премий. А лучше всего была ему знакома необыкновенно тонкая, гибкая талия, будто стебель роскошно распутившегося цветка; здесь можно также представить себе длинный шелковый кошелек, полный золотых монет, но схваченный посередине золотым кольцом, сквозь которое его продели, когда он был еще наполовину пустым. За несколько мгновений, пока она не повернулась к нему, князь будто успел взвесить этот кошелек в руке и даже услышал тихое позвякивание металла. А когда она наконец обернулась, в ее глазах отразилось понимание того, что с ним происходит. Она не придавала большого значения этой неожиданной встрече, вот разве только ее понимающий взгляд мог придать значение практически чему угодно. Если со спины она напоминала охотницу, то, подойдя ближе, показалась ему – может быть, и не вполне правильно – скорее похожей на музу. Но сказала она просто:

– Вот видите, вы еще от меня не избавились. Как поживает душечка Мегги?

Случилось так, что очень скоро молодому человеку без всяких усилий с его стороны сама собой представилась возможность задать вопрос, подсказанный ему миссис Ассингем. В течение нескольких минут, пожелай он того, князь был волен поинтересоваться у молодой леди, долго ли она планирует с ними пробыть. Дело в том, что миссис Ассингем вдруг потребовалось уйти по каким-то мелким домашним делам, предоставив своих гостей самим себе.

– Миссис Беттерман там? – спросила она Шарлотту, имея в виду какую-то из служанок, которой было поручено встретить ее и принять у нее чемоданы. На это Шарлотта ответила, что видела только дворецкого и нашла его весьма любезным. Она уверяла, что о ее багаже можно не беспокоиться, но хозяйка дома мгновенно вскочила с подушек; видимо, упущение миссис Беттерман было более серьезно, чем могло показаться непосвященному. Короче говоря, дело требовало ее немедленного вмешательства, хоть гостья и воскликнула: «Давайте я пойду!» – и долго с улыбкой сокрушалась о том, что из-за нее возникли такие хлопоты. В эту минуту князю стало абсолютно ясно, что и ему пора уходить; заботы о размещении мисс Стэнт никоим образом его не касались, оставалось только удалиться... если не было особых причин задерживаться. Но причина у него имела, это было не менее ясно. Князь не ушел, и надо сказать, уже довольно давно ему не приходилось действовать столь осознанно и целенаправленно. Даже больше: от него потребовалось определенное усилие воли, какое чаще всего сопутствует поступкам человека, борющегося за идею. Идея была налицо и состояла в том, чтобы выяснить нечто, чрезвычайно его интересовавшее, причем выяснить не завтра, не когда-нибудь в будущем, короче говоря, без долгих гаданий и ожиданий, а, по возможности, еще прежде, чем он покинет этот дом. К тому же собственное любопытство сочеталось в данном случае с поручением миссис Ассингем. Князь ни за что бы не признался, что задерживается с целью задать бестактный вопрос: нет никакой бестактности в том, что у него имеются собственные мотивы.

Если уж на то пошло, скорее было бы бестактно покинуть старую знакомую, не перемолвившись с ней словечком.

Вот он и получил полную возможность перемолвиться с нею словечком, ибо уход миссис Ассингем многое упростил. Небольшой домашний кризис продолжался меньше, чем мы о нем рассказываем; затянись он надолго, князю, естественно, пришлось бы взяться за шляпу. Оказавшись наедине с Шарлоттой, он отчего-то был рад, что не совершил столь непродуманного поступка. Он придерживался правила ничего не делать впопыхах, видя в этом особого рода постоянство, точно так же, как постоянство принимал за своего рода достоинство. А разве он не вправе обладать чувством собственного достоинства, будучи с избытком одарен чистой совестью, которая есть основа этого приятного качества? Он не делал ничего предвзятого – собственно говоря, он вообще ничего не делал. Повидав в своей жизни, как уже упоминалось, множество женщин, он мог наблюдать, как сам бы выразился, постоянно повторяющийся феномен, столь же неизбежный, как восход солнца или наступление дня такого-то святого, и состоящий в том, что женщина непременно так или иначе себя выдаст. Она делает это неизменно, неотвратно, она просто не может иначе. В этом ее природа, ее жизнь, а мужчине остается лишь дожидаться, не шевельнув и пальцем. В этом его преимущество, преимущество каждого мужчины: ему достаточно запастись терпением, и все наладится само собой, просто-таки, можно сказать, вопреки его воле. Ну и, соответственно, предсказуемость поступков женщины – это ее слабость, такое же несчастье, как красота. Отсюда и возникает та смесь жалости и жадности, из которой, собственно, и состоит отношение к ней любого мужчины, если он не совсем уже бессмысленное животное. Это и дает мужчине основание угодить женщине и в то же время быть к ней снисходительным. Она, конечно, старается как-то прикрыть свои действия, замаскировать и приукрасить, проявляя при этих ухищрениях огромную изобретательность, с коей сравниться может только лишь ее малодушие: она готова выдать свои поступки за что угодно, только не за то, что они представляют собой в действительности. Чем, по всей видимости, и занималась в настоящую минуту Шарлотта Стэнт; в этом, несомненно, заключалась подоплека каждого ее движения и взгляда. Она – женщина двадцатого века, она следует своему предназначению, но ее предназначение отчасти и в том, чтобы обеспечивать соблюдение условностей, ему же остается только выяснить, как она намерена действовать. Он готов ей помочь, готов действовать с нею заодно – в разумных пределах; единственно, нужно понять, какие именно условности следует соблюсти и каким образом это лучше всего сделать. Сделать и соблюсти должна, разумеется, она; сам он, слава богу, никаких безумств не совершал и скрывать ему нечего, кроме идеальной гармонии между поступками и долгом.

Как бы там ни было, когда за их приятельницей закрылась дверь, они остались стоять друг против друга с натянутой улыбкой, словно каждый дожидался, пока другой задаст тон разговора. В напряженном молчании молодой человек отдавал себе отчет в том, что испытывал бы куда более сильный страх, если бы не чувствовал, что она и сама боится. Но ей было труднее – она боялась себя, в то время как он боялся только ее. Бросится ли она в его объятия, сделает еще что-нибудь столь же удивительное? Она хочет увидеть, что сделает он, – сказала ему без слов эта причудливая минута, – чтобы самой действовать соответственно. А что он может сделать, кроме как дать ей понять, что он готов абсолютно на все, лишь бы помочь ей с честью выйти из сложившейся ситуации? Даже если она кинется к нему в объятия, он все-таки ей поможет – поможет сгладить, забыть, никогда не вспоминать, а следовательно, и не жалеть. На самом деле все получилось по-другому, хотя напряжение князя ушло не сразу, убывая понемногу и очень постепенно.

– Как чудесно вернуться сюда! – сказала она наконец; больше ничего, да и то мог сказать всякий другой. Но эти слова вместе с несколькими другими, последовавшими в ответ на его реплику, великолепно задали направление, а тон ее и вся манера ничем не указывали на истинное положение вещей. Малодушие, по сути очевидное для него, ни в коей мере не про-

глядывало наружу, и очень скоро князю стало ясно, что, если уж она возьмется за дело, на нее можно целиком и полностью положиться. Очень хорошо, того только ему и надо. Тем больше причин восхищаться ею. Шарлотта прежде всего постаралась создать впечатление, что она, как говорится, не обязана отчитываться князю, – да, собственно, и никому другому, – в мотивах своих поступков и передвижений. Она – очаровательная девушка, которая была когда-то с ним знакома, но в то же время у очаровательной девушки имеется собственная жизнь. Эту свою идею она подняла поистине на недостижимую высоту – выше, еще выше! Ну что ж, он от нее не отстанет; нет такой высоты, чтобы оказалась слишком высока для них, будь это даже самая головокружительная вершина на свете. И они, кажется, в самом деле достигли той самой головокружительной высоты, когда Шарлотта почти что извинилась за свой внезапный приезд.

– Я все думала о Мегги и в конце концов страшно соскучилась по ней. Я хотела увидеть ее счастливой, и вряд ли скромность не позволит вам сказать, что такой я ее и увижу.

– Ну конечно, она счастлива, слава богу! Но, знаете ли, это почти страшно – счастье такого юного, доброго и великодушного существа. Это немного пугает. Но ее хранит Пречистая Дева и все святые, – сказал князь.

– Разумеется, они ее хранят. Она – самая чудесная душечка на свете. Но этого я вам могу и не объяснять, – прибавила девушка.

– О, – серьезно ответил князь, – я чувствую, что еще многое должен узнать о ней. – И добавил: – Она будет ужасно рада, что вы приехали.

– Ах, я вам совершенно не нужна! – улыбнулась Шарлотта. – Нынче ее час. Ее великий час. Очень часто приходится видеть, как много это значит для девушки. Но в том-то все и дело! Я хочу сказать, что не хотела пропустить такое событие.

Князь взглянул на нее ласково и понимающе.

– Вы ничего не должны пропустить. – Он принял подачу и теперь вполне мог поддерживать заданный тон – нужно было только показать ему, что от него требуется. Камертоном стало счастье его будущей жены, за которую так рада ее старинная приятельница. О да, это было великолепно, особенно потому, что явилось перед ним внезапно в столь искреннем и благородном порыве. Что-то в глазах Шарлотты словно умоляло воспринять ее слова в соответствующем духе. Он готов был воспринимать их в любом духе, какого она пожелает, и постарался дать ей это понять – возможно, памятуя о том, как Мегги дорожит этой дружбой. Эта дружба парила на крыльях пылкого юношеского воображения и была, по мнению князя, самым живым и ярким чувством в ее жизни, – разумеется, не считая всепоглощающей преданности отцу, – пока не забрезжило иное чувство, источником которого стал он сам. Насколько он знал, Мегги не пригласила Шарлотту на свадьбу – ей и в голову не пришло заставить подругу совершить ради каких-то нескольких часов утомительное и дорогостоящее путешествие. Но она постоянно поддерживала с ней связь, чуть ли не каждую неделю сообщала новости о себе, несмотря на все приготовления и хлопоты. «Ах, я как раз пишу Шарлотте; вот бы вам познакомиться с нею поближе» – он и сейчас еще слышал эти слова, так часто звучавшие за последнее время, и снова со странным чувством отмечал про себя, что высказанное ею пожелание несколько излишне, о чем он как-то до сих пор не собрался ей сказать. Шарлотта старше и, возможно, умнее – во всяком случае, ничем не связана, так почему бы ей не ответить на такую стойкую привязанность чем-то большим, нежели обыкновенные вежливые формальности? Правда, женские взаимоотношения – весьма причудливая материя, и, пожалуй, в подобной ситуации князь не рискнул бы довериться одной из своих молодых соотечественниц. В своих соображениях он полагался на огромную разницу между расами, хотя было бы довольно трудно определить национальную принадлежность этой молодой дамы. В ней не замечалось явно выраженных черт, типичных для какой-то определенной нации; то было штучное изделие, истинная редкость. Ее непохожесть на других, ее одиночество и недостаток средств – читай: отсутствие родни и других преимуществ – придавали ей, вместе взятые, некую удивительную нейтраль-

ность, служа как бы маленьким социальным капиталом для этой девушки, такой отстраненной от всех и в то же время все подмечающей вокруг себя. Иного капитала и не могло быть у одинокой общительной молодой особы, и это при том, что мало кому из них удавалось достичь подобного успеха, да и самой Шарлотте в этом помогал некий особый дар, трудно определимый словами, своеобразная игра природы.

Дело тут было не в ее удивительном чутье к иностранным языкам, которыми она жонглировала, как фокусник на манеже жонглирует шариками, обручами или зажженными факелами, – по крайней мере, не только в нем, ибо князю случалось знать полиглотов почти столь же всеобъемлющих дарований, чьи достижения, однако, отнюдь не делали их интересными людьми. Если уж на то пошло, он и сам был полиглотом, точно так же, как многие из его друзей и родственников; для них, и более всех – для него, изучение языков было вопросом обыкновенного удобства. А у этой девушки владение языками было прекрасно само по себе и даже словно таило какую-то загадку; так, по крайней мере, представлялось князю, когда ему являлось в ее устах редчайшее среди варваров достоинство – безупречное владение итальянским. Он встречал несколько человек, чаще всего мужчин, кому удавалось с приятностью изъясняться на его родном языке, но ни у кого, ни у мужчин, ни у женщин, не замечал он такого безошибочного, почти мистического инстинкта к этому наречию, как у Шарлотты. Он вспомнил, как при первом знакомстве она ничем не проявила этого, как будто естественной средой общения для них был английский, в котором князь несколько не уступал ей самой. И лишь случайно, услышав, как она при нем разговаривала с кем-то другим, князь понял, что у них имеется и другая возможность, и даже значительно более приятная, поскольку ему доставляло огромное удовольствие подкарауливать у нее ошибки, которых она никогда не допускала. Загадку нисколько не прояснял рассказ Шарлотты о ее появлении на свет во Флоренции и флорентийском детстве: родители, родом из великой страны, но уже из поколения упадка, развращенные поддельные полиглоты, тосканская кормилица – самое раннее детское воспоминание; слуги на вилле, милые *contadini*⁹ из поместья, маленькие девочки и еще какие-то крестьяне из соседнего поместья, все невзрачное, но оттого еще более прелестное окружение первых лет ее жизни, и в том числе благочестивые сестры бедного монастыря, затерянного в холмах Тосканы – монастыря, еще более невзрачного, чем все остальное, но в той же мере и более прелестного, где она проводила свои школьные годы вплоть до начала следующего жизненного этапа, когда она оказалась в куда более величественном учебном заведении в Париже, и туда же поступила Мегги, насмерть перепуганная, за три года до того, как Шарлотта окончила учебу, продолжавшуюся пять лет. Подобные воспоминания позволяли, разумеется, понять, как были заложены основы, но князь все же утверждал, что в крови Шарлотты и в ее речи сказывается какой-то отдаленный, сугубо партикулярный предок – если угодно, хоть бы и с холмов Тосканы. Она ничего не знала ни о каком предке, но очень мило приняла предложенную князем теорию, словно один из тех маленьких подарков, которыми подпитывается дружба. Впрочем, теперь все это смешалось воедино и довольно естественным образом привело к предположению, которое князь позволил себе со всей возможной деликатностью высказать вслух:

– Мне кажется, вам не особенно понравилась ваша родная страна?

Они решили пока ограничиться в беседе английским языком.

– Боюсь, она мне не особенно родная. К тому же там равным счетом никого не волнует, нравится она кому-то или не нравится – это личное дело каждого. Но мне она не понравилась, – сказала Шарлотта Стэнт.

– Не слишком многообещающая перспектива для меня, верно? – сказал князь.

– Вы имеете в виду – потому что вы туда поедете?

– О да, разумеется, мы туда поедем. Я очень хочу поехать.

⁹ Крестьяне (*ит.*).

Она помолчала.

– Но – сейчас? Сразу?

– Через месяц-другой. Кажется, возникла такая идея. – Тут ему померещилось, что в ее лице что-то промелькнуло, заставив его сказать: – Разве Мегги вам не написала?

– Она не писала, что вы поедете немедленно. Но вы, конечно, должны ехать. И, конечно, должны пробыть там как можно дольше, – прибавила Шарлотта легким тоном.

– Так ли вы сами поступили? – засмеялся князь. – Пробыли как можно дольше?

– О, мне так показалось... Но у меня не было там никаких «интересов». А у вас будут, и в самых больших масштабах. Эта страна создана для интересов, – сказала Шарлотта. – Будь их у меня хоть несколько штук, я, безусловно, не уехала бы оттуда.

Князь выждал с минуту; они все еще не садились.

– Так значит, ваши интересы здесь, а не там?

– О, мои! – Девушка улыбнулась. – Где бы ни были, они не занимают много места.

То, как она это сказала, и как эта реплика отразилась на ней, подвигло князя произнести речь, которая всего несколько минут назад показалась бы рискованной и сомнительного вкуса. Произнесенные Шарлоттой слова все изменили, и князь положительно воспрянул духом, ощутив, что ему позволено высказаться честно и откровенно. Это было для них обоих проявлением наивысшего мужества.

– Знаете, все это время я считал вполне вероятным, что вы надумаете выйти замуж.

Она на мгновение задержала на нем взгляд, и в эти несколько секунд князь испугался, не испортил ли все дело.

– Выйти замуж, за кого?

– Ну, за какого-нибудь доброго, милого, умного, богатого американца.

И вновь он рисковал нарушить хрупкое равновесие... Но Шарлотта держалась поистине великолепно.

– Я испробовала все возможности, какие мне только попадались. Я очень старалась. Я откровенно давала понять, что ради того и приехала. Может быть, чересчур откровенно. Но все было напрасно. Мне пришлось признать свое поражение. Никто не захотел взять меня в жены. – Тут она как будто пожалела, что ему приходится слушать о ее неудаче. Ее заботило, как он к этому отнесется; если он разочарован, нужно его утешить. – Знаете, поимка мужа – это все-таки не вопрос жизни и смерти, – улыбнулась она.

– Ах, жизнь и смерть... – рассеянно протянул князь.

– По-вашему, я должна ждать чего-то большего от жизни? – спросила Шарлотта. – А разве моя жизнь так уж несносна, пусть даже мне не суждено разделить ее с кем-нибудь? Мою жизнь тоже можно как-то наполнить. Знаете, в наше время положение незамужней женщины имеет свои преимущества.

– Преимущества по сравнению с чем?

– С просто существованием – а это, между прочим, может значить очень многое. Не исключаются и привязанности к вполне определенным людям, а именно – к друзьям. Я, например, необыкновенно привязана к Мегги. Я ее просто обожаю. Могла бы я обожать ее сильнее, выйдя замуж за одного из тех достойных людей, о которых вы говорили?

Князь рассмеялся:

– Вероятно, вы стали бы сильнее обожать его!

– Ах, но ведь речь сейчас не об этом? – откликнулась она.

– Дорогой мой друг, – возразил князь, – речь всегда идет об одном: как сделать по возможности лучше самому себе и при этом не навредить другим.

К этому времени у князя появилось ощущение прочной почвы под ногами, и потому он продолжал, как бы стремясь открыто проявить это свое ощущение:

– Итак, я рискну снова выразить надежду, что вы выйдете замуж за какого-нибудь отличного парня; еще добавлю: я уверен, что этот брак даст вам еще больше преимуществ, как вы выражаетесь, нежели все прогрессивные достижения наших дней.

Вначале она только посмотрела на него и, кажется, безропотно приняла бы его рекомендации, вот только присутствовала в этой безропотности весьма ощутимая доля насмешки.

– Благодарю вас, – просто сказала она, но в эту минуту вернулась их приятельница.

Не приходится отрицать, что, войдя в комнату, улыбающаяся миссис Ассингем бросила на них зоркий взгляд, и, может быть, заметив это, Шарлотта для верности переадресовала вопрос ей:

– Князь выражает надежду, что я еще выйду замуж за хорошего человека.

Неизвестно, подействовало ли это на миссис Ассингем, но князь при этих словах еще больше приободрился. Ему ничего не грозит – вот что, вкратце, означали ее слова, он же того только и добивался. Почувствовав себя в безопасности, князь был способен даже шутить почти на любую тему.

– Это все только из-за того, о чем рассказывала мне мисс Стэнт, – объяснил он хозяйке дома. – Должны же мы поддерживать в ней боевой дух? – Если шутка и вышла грубоватой, по крайней мере, не он ее начал – во всяком случае, не в шутовском тоне; это Шарлотта превратила все в шутку, заговорив с миссис Ассингем. – Она говорит, что предпринимала некие попытки в Америке, но потерпела неудачу.

Миссис Ассингем как-то не ожидала от него подобного тона, но постаралась ответить в подобающем стиле.

– Ну что ж, – заметила она, обращаясь к молодому человеку, – если уж вы так заинтересовались, вы и должны это устроить.

– А вы должны нам помочь, душенька, – хладнокровно заявила Шарлотта, – вы ведь раньше так замечательно помогали устраивать такие вещи.

И не успела миссис Ассингем ответить на столь неожиданную просьбу, как Шарлотта снова обратилась к князю, затронув гораздо более близкую ему тему:

– А ваша-то свадьба в пятницу? В субботу?

– В пятницу – о нет! За кого вы нас принимаете? Мы соблюдаем все пошлые приметы до единой. В субботу, будьте любезны, в Часовне¹⁰, в три часа, в присутствии ровно дюжины свидетелей.

– Дюжины – считая меня?

Пораженный, князь расхохотался.

– С вами получается тринадцать. Так не годится!

– Ни в коем случае, – отозвалась Шарлотта, – если вы увлекаетесь «предзнаменованиями». Так мне не приходиться?

– Боже мой, что вы! Мы что-нибудь придумаем. Пригласим еще какую-нибудь старушку для ровного счета. Не правда ли, следовало бы держать запас старушек специально на такой случай?

Возвращение миссис Ассингем ясно указывало на то, что пора, наконец, удалиться; князь снова взялся за шляпу и подошел попрощаться к хозяйке дома. Но, уходя, он еще раз обратился к Шарлотте.

– Я ужинаю сегодня у мистера Вервера. Что-нибудь передать?

Девушка как будто немного растерялась.

– Мистеру Верверу?

– Нет, Мегги – чтобы вам повидаться с ней завтра утром. Я знаю, ей этого захочется.

¹⁰ Имеется в виду Бромптон Оратори, лондонская часовня Святого Филиппа Нери, католическая церковь в стиле итальянского Возрождения. Знаменита своими службами в сопровождении органной музыки.

– Тогда я приду завтра утром... Спасибо.

– Наверное, она пошлет за вами, – продолжал князь. – Я хочу сказать – пошлет экипаж.

– Ах, спасибо, не нужно. Я могу доехать за пенни на омнибусе, правда? – повернулась она к миссис Ассингем.

– Нет, послушайте! – воскликнул князь, но миссис Ассингем благодушно взирала на свою гостью.

– Да, золотко, и я вам этот пенни обеспечу. Она доберется, – прибавила добрая леди, обращаясь к их общему другу.

Но пока он прощался, Шарлотте пришла в голову новая мысль.

– Князь, я хочу вас попросить о большом одолжении. Я хочу успеть до субботы приготовить для Мегги свадебный подарок.

– Нет, послушайте! – снова воскликнул молодой человек, как бы умоляя не беспокоиться понапрасну.

– Ах, я непременно должна, – продолжала Шарлотта. – На самом деле, я, в сущности, для этого и приехала. В Америке я не смогла достать то, что задумала.

Миссис Ассингем слегка встревожилась:

– Что же вы такое задумали, душечка?

Но Шарлотта смотрела только на молодого человека.

– Вот как раз это князь и поможет мне решить, если только он будет таким хорошим.

– А я, – спросила миссис Ассингем, – не могу помочь вам решить?

– Разумеется, дорогая, мы это обязательно обсудим. – При этом она не отрывала взгляда от князя. – Но я прошу его сделать такую милость – пройтись со мной по магазинам. Я хочу, чтобы он согласился судить и выбирать вместе со мной. Если, конечно, вы можете потратить на это час времени, – сказала она. – Это и есть то большое одолжение, о котором я говорила.

Князь поднял брови, улыбаясь чарующей улыбкой.

– И ради этого вы приехали из Америки? Ну, в таком случае я, разумеется, должен найти время! – Он улыбался чарующей улыбкой, но на самом деле, сказать по правде, он совсем не ожидал ничего подобного. Это так плохо вязалось со всем остальным, что князь почему-то перестал чувствовать себя в безопасности. Обнадеживало лишь то, что просьба была высказана открыто, на людях. Впрочем, очень быстро князь сообразил, что открытость в данном случае – лучший вариант. В следующий миг ему даже показалось, что именно это и требуется; что может лучше обозначить верную основу для их отношений? Присутствие миссис Ассингем придавало всему происходящему полнейшую благопристойность, и эта дама немедленно доказала, что и сама придерживается именно такого мнения.

– Ну, конечно, князь, – рассмеялась она, – вы должны найти время!

Этими словами она как бы давала им «добро» от лица друзей, общественного мнения, нравственного закона, общепринятого представления о пределах дозволенного для будущих мужей и бог знает чего еще, и потому князь только сказал Шарлотте, что специально зайдет утром на Портленд-Плейс, чтобы застать ее там и договориться о встрече, после чего отправился прочь, унося с собой отчетливое ощущение, что, как он сам выразился, точно знает, как обстоят дела. Для этого он и затягивал свой визит. Дела же обстояли вполне приемлемо.

4

– Я что-то не совсем понял, дорогая, – обратился к своей жене полковник Ассингем вечером того дня, когда приехала Шарлотта. – Должен сказать, я как-то не совсем понимаю, почему ты так терзаешься из-за всего этого. В конце-то концов, ты здесь ни при чем, верно? Я, во всяком случае, ни при чем, чтоб мне провалиться!

Час был поздний, и молодая леди, которая утром этого же дня сошла с корабля в Саутгемптоне, пересела на «специальный пароход», а затем поселилась в гостинице только лишь для того, чтобы пару часов спустя перебраться в частный дом, к этому времени, надо надеяться, уже мирно отдыхала от трудов праведных. К обеду явились двое гостей, довольно потрепанная жизнью братья по оружию времен доблестной молодости полковника, с которыми тот случайно повстречался накануне. Когда обед закончился и джентльмены присоединились к дамам в гостиной, Шарлотта уже ушла к себе, сославшись на усталость. Зато отважные вояки, увлекшись разговором, просидели до одиннадцати: миссис Ассингем, хоть и утверждала, что утратила всякие иллюзии по отношению к военным, но была неизменно неотразима для старых солдат; а поскольку полковник вернулся домой перед самым обедом и едва успел переодеться, то у них лишь сейчас появилась возможность обсудить ситуацию, создавшуюся, как ему только что было поведано, в результате приезда гостии. Собственно говоря, было уже за полночь, слуг отправили спать, грохот колес уже не раздавался за окном, распахнутым в августовскую ночь; все это время Роберт Ассингем терпеливо знакомился с фактами, которые ему следовало узнать. Но его отношение ко всему происходящему вполне выразили вышеприведенные слова. Чтоб его черти взяли, он снимает с себя всякую ответственность, – полковник любил и часто употреблял оба эти выражения. Самый простодушный, самый здравомыслящий, самый доброжелательный из людей, он имел пристрастие к ужаснейшему сквернословью. Жена однажды заметила ему по этому поводу, что его ругань напоминает ей одного отставного генерала: она однажды видела собственными глазами, как тот играл с оловянными солдатиками, вел победоносные сражения, осаждал и уничтожал неприятеля, увлеченно манипулируя маленькими деревянными крепостями и оловянным войском. Необузданность в речах заменяла ее мужу оловянных солдатиков – то был его способ играть в войну. Таким безобидным образом полковник на склоне лет удовлетворял свои воинственные инстинкты; нехорошие слова, нагромождаемые в достаточном количестве, могли воплощать собой батальоны, эскадроны, гром канонады и сокрушительные атаки легкой кавалерии. Это было естественно, это было очаровательно – романтика, к которой и жена полковника не оставалась равнодушной, романтика походной жизни и непрестанного грохота орудий. Это была битва до конца, битва не на жизнь, а на смерть, только никого по-настоящему не убивали.

Полковнику повезло меньше – несмотря на все богатство своего лексикона, он так до сих пор и не сумел определить любимую игру своей жены; он мог лишь, следуя ее собственной философии, предоставить ей полную самостоятельность в этом вопросе. Снова и снова полковник засиживался допоздна, обсуждая с нею всевозможные ситуации, в изобилии возникавшие в ее более утонченном сознании, но при этом неизменно подчеркивал, что ни одна ситуация в ее жизни не может иметь к нему никакого отношения. Пусть она ввязывается хоть в пятьдесят ситуаций одновременно, если ей это нравится – в конце концов, этим любят баловаться на досуге все женщины, будучи всегда уверены, что, как только та или иная ситуация серьезно им надоест, обязательно найдется мужчина, который их вызволит. Полковник же ни за какие коврижки не соглашался участвовать в какой бы то ни было ситуации, ни сам по себе, ни даже вместе с женой. Таким образом, он наблюдал жену в ее родной стихии примерно так же, как в свое время случалось ему наблюдать в «Аквариуме» некую знаменитость, та прославленная леди в облегающем купальнике крутила сальто и выделявала всевозможные штуки в бассейне с

водой, представлявшемся до чрезвычайности холодным и неудобным на взгляд любого зрителя, не относящегося к семейству амфибий. Так и нынче ночью он слушал свою спутницу жизни, покуривая трубочку на сон грядущий и любуясь ее выступлением, словно заплатил шиллинг за входной билет. Впрочем, он по такому случаю желал получить нечто стоящее за свои деньги. В чем же это, во имя всех чудес, она так упорно себя винит? Что, по ее мнению, может случиться и что такое может натворить эта бедная девушка, если даже она и стремится вообще что-то сотворить? Если уж на то пошло, что такого страшного может быть у нее на уме?

– Если бы она мне в этом отчиталась сразу же по прибытии, – отвечала мужу миссис Ассингем, – я, разумеется, без труда бы все узнала. Но она не сделала мне такого одолжения и не похоже, чтобы собиралась сделать в будущем. Одно ясно наверняка: она неспроста приехала. Она хочет, – неторопливо развивала свою мысль миссис Ассингем, – снова увидеться с князем. Это-то меня ничуть не беспокоит. Я хочу сказать, этот факт сам по себе, как факт, не вызывает беспокойства. Но вот о чем я себя спрашиваю: для чего ей это нужно?

– Что толку спрашивать себя, если ты знаешь, что ты этого не знаешь? – Полковник привольно откинулся на спинку кресла; щиколотка одной ноги покоилась на колене другой, а глаза с вниманием обозревали изящную форму необыкновенно стройной ступни, мерно покачивавшейся и облаченной в тонкий черный шелковый трикотаж и лаковую кожу. Эта конечность словно демонстрировала свою приверженность строгой воинской дисциплине, так все в ней было идеально, блестяще, аккуратно и туго затянуто, словно солдат на параде. Она даже как бы намекала, что, будь она чуточку менее совершенна, кто-нибудь неизбежно отправился бы на гауптвахту или, по крайней мере, подвергся бы штрафу с вычетом соответствующей суммы из денежного довольствия. Вообще Боба Ассингема отличала необыкновенная худоба, не имеющая абсолютно ничего общего с физическим истощением, худоба, проистекающая, возможно, от повеления высших сил в целях пушного удобства транспортировки и размещения на постой, и, по сути дела, едва не выходящая за рамки нормы. В еде он себе не отказывал, о чем было прекрасно известно большинству его друзей, и все же оставался неизменно худым, словно изможденным, и впалые щеки полковника производили поистине зловещее впечатление. Соответственно, и одежда на нем болталась, а поскольку полковник Ассингем предпочитал ткани необычных светлых оттенков и причудливой фактуры, напоминающей на вид китайские циновки, – и где он только их откапывал? – то одеяния его наводили на мысли о тропических островах, вызывая невольный образ губернатора, который правит вверенной ему территорией, расположившись в плетеном кресле на просторной веранде. Круглая голова с гладко зачесанными волосами и сединой особого оттенка походила на перевернутый серебряный горшок; скулы и щеточка усов достойны были Аттилы, предводителя гуннов. Глубоко посаженные глаза, обведенные темными кругами, голубели, словно цветочки, сорванные не далее как сегодняшним утром. Он знал о жизни все, что только можно знать, считая ее, в основном, вопросом чисто финансового устройства. Жена упрекала его в недостатке как нравственной, так и интеллектуальной чуткости, а точнее – в полном отсутствии того и другого. Полковник никогда не пытался хотя бы понять, что она имела в виду, да это было и не важно, ибо при всем при том он ухитрялся прекрасно уживаться с окружающими. Людские слабости и причуды не удивляли и не шокировали его – да что там, почти даже не забавляли, и это, возможно, единственное, чего он был лишен в своей вполне успешной жизни; все вышеупомянутое он принимал за данность, ничему не ужасаясь и все раскладывая по полочкам, прикидывая шансы и подводя итоги.

Может быть, прежде, в странах с невероятным климатом, в военных кампаниях, полных жестокости и вседозволенности, он повидал такие удивительные вещи, что ему уже нечему было учиться. Впрочем, он был вполне доволен жизнью, при всей своей любви к преувеличениям во время домашних споров, и, как ни странно, отличался необычайной добротой, словно

бы никак не связанной с его прошлым опытом. При необходимости он прекрасно справлялся с жизненными трудностями, держась от них на расстоянии.

Именно так он обходился и со своей женой, зная, что большую часть ее высказываний можно попросту оставить без внимания. Из соображений семейной экономии полковник редактировал игру ее ума точно так же, как с огрызком карандаша в руке он правил ее многочисленные и многословные телеграммы. Наименее загадочным представлялся ему его клуб, куда он был принят в качестве управляющего – пожалуй, слишком даже дотошного – и где управлял, исходя из принципа полного проникновения. В сущности, его клубная деятельность представляла собой шедевр редакционной правки. Возвращаясь к уже сказанному, можно отметить, что примерно тот же процесс он предполагал применить в данную минуту к воззрениям миссис Ассингем по поводу сложившейся ситуации, то есть по поводу различных возможностей, связанных с Шарлоттой Стэнт, и их собственного отношения к происходящему. Они не станут бездумно тратить на это весь свой скромный капитал тревожного любопытства; нельзя же, в самом деле, за один миг израсходовать любовно накопленный запас. Кроме того, ему нравилась Шарлотта: с ней было легко ладить, она не доставляла хлопот в качестве гостыи и по своему инстинктивному неприятию лишних трат была гораздо ближе к характеру полковника, нежели его собственная жена. Ему было чуть ли не проще разговаривать с нею о Фанни, чем с Фанни – о Шарлотте. Но сейчас от него требовалось именно это последнее, и полковник старался как мог, до того даже, что повторил только что заданный вопрос:

– Если не можешь придумать, чего тебе следует бояться, подожди, пока не придумаешь. Тогда у тебя гораздо лучше получится. А то, если не хочется слишком долго ждать, узнай у нее. Меня не спрашивай. Возьми и спроси ее саму.

Миссис Ассингем, как мы знаем, решительно отрицала способность своего мужа к какой бы то ни было игре ума и потому могла себе позволить отнестись к подобным репликам, как к ничего не значащей жестикуляции или нервному тикю. Она с привычной снисходительностью игнорировала их, но больше ей не с кем было поговорить об этих насущных и сугубо интимных вопросах.

– Ее дружба с Мегги невероятно все усложняет. Потому что, – размышляла она вслух, – это так естественно.

– Так, может, она из-за того и приехала?

– Она приехала, – продолжала свои размышления миссис Ассингем, – потому что ей не понравилось в Америке. Для нее там нет места – она не нашла там сочувствия. У нее не было гармонии с людьми, которых она там встретила. Наконец, это ясно до безобразия: она просто не может там жить, при ее средствах. А здесь все-таки каким-то образом может.

– Ты хочешь сказать, таким образом, чтобы жить у нас?

– Или еще у кого-то. Она не может вечно жить в гостях, да и не хочет. Если бы даже и захотела, она для этого слишком хороша. Но она может, она должна рано или поздно поселиться у них. Мегги ее пригласит – Мегги ее заставит. К тому же она и сама захочет.

– Так почему ты не можешь считать, что она для этого и приехала, – спросил полковник, – и успокоиться на этом?

– Как я могу успокоиться, как? – продолжала жена, словно не слыша его. – Это меня преследует!

– А что такого?

– Чтобы прошлое вдруг вернулось именно теперь? – говорила миссис Ассингем в мрачном раздумье. – Что же будет, как же теперь будет?

– Все будет прекрасно, я бы сказал, и незачем заламывать руки. Да когда это было, дорогая, – заметил полковник, закуривая, – чтобы нечто, задуманное и устроенное тобой, не вышло просто замечательно?

– Ах, не я все это устроила! – немедленно откликнулась она. – Не я ее вернула.

– Ты думала, она останется там до конца своих дней, чтобы сделать тебе одолжение?

– Ничего подобного. Пусть бы приехала после того, как они поженятся, я совсем не против. Все дело в том, что она приехала раньше. – И тут же прибавила совершенно непоследовательно: – Мне ее так жаль. Конечно, радоваться ей нечему. Но я не понимаю, что за причуда ее толкает. Не было никакой необходимости ей встречаться со всем этим лицом к лицу – ведь не ради самоистязания она это делает! То-то и оно – мне почти кажется, что это она меня наказывает!

– А может, так оно и есть? – сказал Боб Ассингем. – Черт возьми, считай, что она тебя наказывает, и делу конец. Заодно и мне наказание, – прибавил он.

Но миссис Ассингем еще далеко не покончила с этой темой. Она заявила, что у данной ситуации много разных сторон, и ни одну из них, по справедливости, нельзя упускать из виду.

– Вот, например, я ни на минуту не думаю, что она плохая. Ни за что, никогда! – воскликнула миссис Ассингем. – Этого я о ней не думаю.

– Ну, так разве этого недостаточно?

Миссис Ассингем ясно дала понять, что ничего не будет достаточно, пока ей не дадут развить свою мысль до конца.

– У нее нет сознательного намерения создавать какие-то сложности. Она действительно считает Мегги душечкой, и это чистая правда – а кто так не считает? Она не способна намеренно повредить хотя бы волосок на ее голове. Но она здесь – вот отсюда и все наши проблемы, – закончила миссис Ассингем.

Ее супруг еще какое-то время молча курил.

– Да что вообще между ними было, скажи на милость?

– Между князем и Шарлоттой? Да ничего... Единственное только – им пришлось понять, осознать, что ничего не может быть. В этом весь их маленький роман... Даже – их маленькая трагедия.

– Но что же они все-таки сделали, черт подери?

– Сделали? Полюбили друг друга, но потом поняли, что ничего не может быть, и отказались друг от друга.

– Так в чем же роман?

– Да вот в этом – в крушении надежд, в том, что они нашли в себе мужество посмотреть фактам в лицо.

– Каким фактам? – добивался полковник.

– Ну, прежде всего – что ни у него, ни у нее не было средств, чтобы пожениться. Если бы у нее были хоть какие-то деньги – я хочу сказать, столько, чтобы хватило на двоих, – я уверена, он бы решился на это.

Муж ограничился тем, что издал какой-то невнятный звук, и она тут же поправилась:

– Я хочу сказать, если бы у него самого были хоть какие-то деньги... Или чуточку больше... Хоть какие-то деньги по княжеским меркам. Они бы сделали, что могли, – миссис Ассингем отдавала им должное, – если б была малейшая возможность. Но никаких возможностей не было, и Шарлотта, надо сказать к ее чести, поняла это. Ему необходимы были деньги, это был вопрос жизни и смерти. Да и радости мало выйти за него нищего – вернее, сделать его нищим. У нее хватило ума это понять, и у него тоже.

– И этот их разумный поступок ты называешь романом?

Она на мгновение задержала на нем взгляд.

– Что же тебе еще?

– А разве ему, – спросил полковник, – ничего больше не было нужно? Или, если уж на то пошло, самой бедолаге Шарлотте?

Миссис Ассингем все не отрывала от него взгляда, и в этом как будто крылась половина ответа.

– Они были безоглядно влюблены. Она могла бы стать его... – Миссис Ассингем умолкла и даже ненадолго задумалась. – Она могла бы стать ему кем угодно, только не женой.

– Но не стала, – промолвил полковник сквозь клубы дыма.

– Не стала, – эхом отозвалась миссис Ассингем.

Эхо, негромкое, но глубокое, на минуту заполнило всю комнату. Полковник как будто прислушивался, пока оно не затихло, затем снова заговорил:

– Почему ты так уверена?

Она помолчала, но в конце концов ответила с полной решительностью:

– Не хватило бы времени.

Полковник усмехнулся такому доводу – возможно, он ожидал чего-то совсем другого.

– Разве на это требуется так уж много времени?

Но миссис Ассингем оставалась по-прежнему серьезной.

– Больше, чем у них было.

Полковник отстраненно подивился:

– С чего вдруг такая нехватка времени?

И затем, пока она молча раздумывала, словно вспоминая все, переживая заново и соединяя между собой обрывки, он спросил:

– Ты хочешь сказать, что тут вмешалась ты со своей блестящей идеей?

На это она сразу же ответила, как будто отвечала в какой-то мере себе самой:

– Ничего подобного... Тогда еще нет. Но ты, конечно, помнишь, – продолжала она, – как все это происходило, примерно год назад. Они расстались, когда он еще и не слышал о Мегги.

– А почему он ничего не слышал о ней от самой Шарлотты?

– Потому что она никогда о ней не говорила.

– Это тоже она тебе рассказала? – поинтересовался полковник.

– Я сейчас говорю не о том, что она мне рассказывала, – возразила его жена. – Что она рассказала, это одно. А я сейчас говорю о том, что сама знаю. Это совсем другое.

– Другими словами, ты считаешь, что она тебе врет? – добродушно осведомился Боб Ассингем.

Миссис Ассингем отмахнулась от столь грубого вопроса.

– В то время она даже имени Мегги не упоминала.

Она говорила с такой уверенностью, что полковника вдруг осенило.

– Так, значит, это он тебе сказал?

Поколебавшись мгновение, она призналась:

– Да, он.

– А он не врет?

– Нет... Нужно отдать ему должное. Я уверена, что он абсолютно не врет. Если бы я так не думала, – провозгласила, как бы оправдываясь, миссис Ассингем, – я не стала бы иметь с ним никакого дела, я хочу сказать – в данном отношении. Он джентльмен – джентльмен вполне, настолько, насколько это требуется. К тому же он бы ничего от этого не выиграл. Что немаловажно, – прибавила она, – даже и для джентльмена. Это я рассказала ему о Мегги, в прошлом мае тому исполнился ровно год. Раньше он о ней ничего не слышал.

– Значит, дело серьезное, – сказал полковник.

Миссис Ассингем наскоро обдумала его слова.

– Ты хочешь сказать, серьезное для меня?

– О, для тебя-то все «серьезно», это уж само собой, иначе о чем же мы тут толкуем? Для Шарлотты дело было серьезное. И для Мегги серьезное. Опять-таки было – когда он ее наконец увидел. Или когда она его увидела.

– Не думай, что тебе удастся так уж сильно меня мучить, – помолчав, снова заговорила она, – потому что ты не можешь придумать ничего такого, о чем я уже тысячу раз не передумала.

мала, и еще потому, что я думаю о таких вещах, которые тебе даже в голову не придут. Все это было бы очень серьезно, – признала миссис Ассингем, – если бы не было так правильно. Тебе не понять, – продолжала она, – но ведь мы приехали в Рим еще до конца февраля.

Полковник от души с ней согласился:

– Дорогая, мне вообще ничего не понять в этой жизни.

Его жена, видимо, при необходимости понимала в этой жизни абсолютно все.

– Шарлотта в том году была там с самого начала ноября, а потом неожиданно уехала, ты же помнишь, около десятого апреля. А собиралась остаться дольше, – собиралась в какой-то мере ради нас, естественно; тем более что должны были наконец приехать Верверы, которых ждали всю зиму, а они все откладывали и откладывали. И приезжали-то они, – во всяком случае, Мегги, – в основном для того, чтобы повидаться с Шарлоттой и, главное, побыть с нею там. И вдруг все изменилось, потому что Шарлотта уехала во Флоренцию. Ты ничего не помнишь – она собралась и уехала в одночасье. Привела какие-то причины, но мне и тогда это показалось странным. Я так и чувствовала: наверняка что-то произошло. Беда в том, что хоть я кое-что знала, но знала недостаточно. Я не знала, что их отношения были, как ты выражаешься, «на грани» – то есть я не знала, до какой степени «на грани». Бедная девочка просто-напросто спасалась бегством.

Полковник слушал внимательнее, чем показывал, и это было заметно по его тону.

– Спасалась?

– Ну, наверное, и его тоже спасала. Позже я все это поняла – теперь-то я все понимаю! Он непременно пожалел бы – он не хотел причинить ей боль.

– Как же, – расхохотался полковник. – Все они, как правило, ничего такого не хотят!

– Во всяком случае, – продолжала его жена, – Шарлотта спаслась – оба они спаслись. Им всего лишь нужно было посмотреть правде в глаза. Брак между ними был невозможен, а если так, чем скорее они окажутся по разные стороны Апеннин, тем лучше. Правда, им потребовалось какое-то время, чтобы все это почувствовать и сообразить. Они постоянно встречались, и не всегда на людях. Во всю ту зиму они встречались гораздо чаще, чем об этом было известно – хотя и так немало было известно. Во всяком случае, больше, чем я тогда воображала, хотя не знаю, что, в сущности, изменилось бы от этого для меня. Он мне понравился, показался очаровательным с самого первого знакомства. И вот, больше года прошло, а он пока ничем не испортил впечатления. А ведь он мог сделать разные вещи... Какие многие из мужчин проделали бы с легкостью. Поэтому я в него верю. Я с самого начала подумала, что так будет, и не ошиблась. И потому я говорю себе, – провозгласила она, как будто зачитывая итог, сумму длинного столбца цифр, – я говорю себе: все-таки я была не совсем уж дурочкой.

– А я разве говорил, что была? Да что там, – заявил Боб Ассингем, – им теперь нужно только одно: чтобы их оставили в покое. Теперь это их проблема; они ее купили, оплатили и забрали из магазина. Она уже больше не твоя.

– О какой именно проблеме ты говоришь? – уточнила миссис Ассингем.

С минуту полковник молча курил, потом застонал:

– Господи, их что, много?

– Есть проблема Мегги с князем, а есть – князя с Шарлоттой.

– О, да, и еще, – насмешливо фыркнул полковник, – проблема Шарлотты с князем.

– Еще – Мегги с Шарлоттой, – продолжала жена, – а также моя с Мегги. И еще, пожалуй, – моя с Шарлоттой. Да, – задумчиво проговорила она, – с Шарлоттой у меня, безусловно, проблема. Короче говоря, хватает, как видишь. Но я намерена не терять головы.

– И все эти проблемы мы должны решить сегодня вечером? – поинтересовался полковник.

– И все бы погребло, пойдя дела по-другому – если бы я сделала какую-нибудь глупость, – с жаром продолжала миссис Ассингем, пропустив вопрос мимо ушей. – Я бы этого не вынесла.

Но чистая совесть придает мне сил. Никто не может ни в чем меня упрекнуть. Верверы отправились в Рим одни. Шарлотта, проведя с ними несколько дней во Флоренции, приняла решение насчет Америки. Мегги, должно быть, ей помогла; наверное, сделала ей хороший подарок, и это многое упростило. Шарлотта, расставшись с ними, прибыла в Англию, «присоединилась» к кому-то, не помню уже, к кому, и отплыла в Нью-Йорк. У меня еще хранится ее письмо из Милана, где она об этом рассказывает; в то время я не знала, что за этим стоит, но все равно почувствовала, что она начинает новую жизнь. Во всяком случае, это, безусловно, очистило атмосферу – я имею в виду атмосферу милого старого Рима, которой все мы были пропитаны. Теперь у меня были развязаны руки. И когда я познакомила тех двоих, для меня даже вопроса не стояло о ком-нибудь другом. Больше того, и для них такого вопроса тоже не стояло. Вот, теперь ты знаешь мою позицию, – закончила она.

Тут она поднялась с места, словно эти слова были голубым лучом дневного света, к которому она мучительно пробивалась сквозь какой-то темный тоннель, а ее восторженно зазвеневший голос вместе с вновь обретенной уверенностью можно было бы уподобить пронзительному свистку паровоза, вырвавшегося на простор.

Она прошла по комнате, выглянула на мгновение в августовскую ночь, остановилась перед одной, другой вазой с цветами. Решительно, похоже было, что она доказала все, что требовалось доказать, как будто успех затеянной ею операции стал неожиданностью для нее самой. Возможно, прежние расчеты были не свободны от ошибок, но новые окончательно разрешили все сомнения. Муж, как ни странно, остался сидеть, где сидел, и, казалось, совершенно не вникал в результаты ее рассуждений. Ее энтузиазм его только смешил, и точно так же его не увлек порыв ее восторга; возможно, он не хотел признаваться, что всерьез заинтересовался этой историей.

– Ты хочешь сказать, – спросил он вскоре, – что князь уже забыл Шарлотту?

Она круто обернулась, словно он нажал какую-то пружину.

– Само собой, он хотел забыть – и это лучшее, что он мог сделать. – Как видно, миссис Ассингем действительно поняла все до конца и могла объяснить во всех подробностях. – У него достало на это сил, и он взялся за дело наилучшим образом. При этом не забывай, как все мы в то время относились к Мегги.

– Она очень мила, но мне она всегда казалась прежде всего девушкой, получающей миллион годового дохода. Если ты намекаешь, что он именно так к ней и относился, то ты, безусловно, права. Согласен, ему, видимо, было совсем нетрудно забыть Шарлотту.

Миссис Ассингем вскинулась, но лишь на мгновение.

– А я никогда и не говорила, будто ему не нравились деньги Мегги, и чем дальше, тем больше.

– А я никогда не говорил, будто они мне и самому бы не понравились, – отпарировал Боб Ассингем. Еще с минуту он курил в полной неподвижности. – Сколько из этого известно Мегги?

– Сколько? – Она как будто прикидывала, как лучше выразить количество – в квартках или галлонах. – Ей известно то, что Шарлотта рассказала ей во Флоренции.

– А что ей рассказала Шарлотта?

– Очень немного.

– Почему ты так уверена?

– Да потому, что она не могла ей рассказать. – Миссис Ассингем снизошла до объяснения. – Некоторые вещи, дорогой, – разве сам ты этого не чувствуешь, при всей своей толстокожести? – некоторые вещи никто не мог бы рассказать Мегги. Есть такие вещи, честное слово, что я и сейчас не решилась бы ей рассказать.

Полковник курил и думал.

– Это бы ее настолько шокировало?

– Это бы настолько ее напугало. Она бы так страдала – по-своему, тихо и незаметно. Она рождена, чтобы не знать никакого зла. И не должна узнать никогда.

Боб Ассингем рассмеялся странным угрюмым смешком. Этот звук заставил его жену замереть перед ним.

– Замечательно мы принялись за столь благое дело!

Но миссис Ассингем не отступила:

– Ни за что мы не принялись! Дело уже сделалось. Все сделалось в ту самую минуту, когда он подошел к нашему экипажу тогда, на Вилле Боргезе. Это был ее второй или третий день в Риме. Помнишь, ты ушел куда-то с мистером Вервером, а князь сел к нам в экипаж, а потом еще вернулся с нами к чаю. Они встретились, они увидели друг друга, остальное произошло само собой. Помнится, все началось практически в ту самую поездку. Как водится в Риме, какой-то человек окликнул его прямо с улицы, когда мы заворачивали за угол, и так Мегги узнала, что одно из имен князя, полученных при крещении, которым его всегда называли в семье, – Америго. Ты, вероятно, не знаешь, хоть и прожил со мной всю жизнь, что так звали некоего предприимчивого человека, который четыреста лет назад или около того пересек океан вслед за Колумбом, и, в отличие от Колумба, ему повезло сделаться крестным отцом нового континента; оттого-то мысль хоть отдаленно породниться с ним до сих пор волнует наши бесхитростные сердца.

Обычное для полковника мрачноватое добродушие неизменно помогало ему невозмутимо переносить от своей жены весьма частые обвинения в невежестве по части всего, касающегося ее родины; и даже теперь в эти темные глубины проник лишь косвенный луч вопроса, в котором каким-то чудом прозвучало одно лишь любопытство без малейшего намека на смущение:

– Где же тут родство?

Ответ был наготове.

– По женской линии – через одну жившую в далекой древности благотельную даму: она была из потомков того предприимчивого субъекта, поддельного первооткрывателя, и ее князь имеет счастье числить среди своих предков. Одна из ветвей того, первооткрывательского семейства достигла таких высот, что они могли себе позволить вступать в брак с представителями семейства князя, а увенчанное славой имя мореплавателя стало, естественно, весьма популярно среди них, им нарекали одного из сыновей в каждом поколении. Я все это говорю к тому, что, помню, я еще тогда заметила, насколько это имя способствовало князю в отношениях с милыми Верверами. Едва Мегги его услышала, как это знакомство приобрело в ее глазах романтическую окраску. Ее воображение в один миг восполнило все недостающие детали. Я так и сказала себе: «Это знак, что он победит». Конечно, на его счастье, тут имели место и все прочие нужные знаки. В самом деле, – сказала миссис Ассингем, – имя подействовало, практически как острое клина. И еще я подумала, – закончила она свою речь, – что тут прелестью проявилась свойственная Верверам непосредственность.

Полковник внимательно слушал, но высказался весьма прозаически:

– Видно, Америго знал, что делал. Я имею в виду не того, древнего Америго.

– Я уж знаю, что ты имеешь в виду! – бесстрашно бросила миссис Ассингем.

– Тот, древний, – многозначительно прибавил полковник, – не единственный в семье первооткрыватель.

– Ах, да сколько угодно! Если он открыл Америку или прослыл открывателем, то и его потомки в свое время должны были открыть американцев. И в частности, один из них, безусловно, должен был открыть, какие мы патриоты.

– Это не тот ли самый, – осведомился полковник, – который открыл так называемое родство?

Миссис Ассингем сурово взглянула на мужа.

– Родство вполне реально – абсолютно точный исторический факт. Твои инсинуации всего лишь свидетельствуют о твоём цинизме. Неужели ты не понимаешь, – воскликнула она, – что история подобной семьи хорошо известна и прослеживается от самого корня вместе со всеми своими ответвлениями?

– А, ну и ладно, – сказал Боб Ассингем.

– Сходи в Британский музей, – предложила ему спутница жизни с большим воодушевлением.

– И что я там буду делать?

– Там есть целый огромный зал, или отдел, или как там это называется, заполненный книгами, посвященными исключительно семейству князя. Можешь сам посмотреть.

– А ты сама смотрела?

Миссис Ассингем замаялась, но только на мгновение.

– Конечно, я ходила туда как-то с Мегги. Мы, так сказать, искали по нему материалы. Сотрудники библиотеки были весьма любезны. – И она вернулась в основное русло, с которого ее ненадолго сбил полковник. – Во всяком случае, эффект был произведен, чары начали действовать еще в Риме, с той самой первой нашей совместной прогулки. После этого мне просто оставалось как можно лучше использовать ситуацию. А ситуация и без того складывалась как нельзя лучше, – поспешила прибавить миссис Ассингем, – и я совершенно не считала себя обязанной ее портить. И сегодня в подобной ситуации я поступила бы точно так же. Я действовала по обстоятельствам, какими они тогда мне представлялись, – на самом деле они и сейчас не кажутся мне другими. Мне все это нравилось, я ожидала от этого только добра, и даже теперь, – объявила она с жаром, – ничто не заставит меня думать иначе.

– Ничто и никогда не могло заставить тебя думать то, чего тебе не хочется, – заметил, попыхивая трубкой, полковник, по-прежнему развалившийся в кресле. – У тебя просто бесценная способность думать то, что ты пожелаешь. Вот только тебе постоянно хочется думать до ужаса противоположные вещи. А на самом деле случилось то, – продолжал он, – что ты сама отчаянно влюбилась в князя, а поскольку убрать меня с дороги тебе было не под силу, пришлось действовать окольным путем. Как и Шарлотта, ты не могла выйти за него замуж, зато могла женить его на ком-нибудь другом – все-таки это будет князь, и будет свадьба. Ты могла сосватать ему свою маленькую приятельницу – против нее-то не было никаких возражений.

– Мало сказать – никаких возражений, были и положительные причины, и все преотличные, все просто очаровательные. – Она даже не пыталась опровергать его разоблачения касательно своих мотивов, причем это умолчание, явно осознанное, по-видимому, ничего ей не стоило. – Все-таки князь и все-таки свадьба, слава тебе господи. И так оно будет всегда, с Божьей помощью. Год назад я была по-настоящему счастлива, что могу им помочь, и до сих пор счастлива.

– Так о чем же ты беспокоишься?

– Я спокойна, – сказала Фанни Ассингем.

Полковник посмотрел на нее со своей обычной бесстрастной прямоотой. Она вновь заходила по комнате, подчеркивая своими метаниями только что прозвучавшее заявление о спокойствии. Он сперва молчал, как будто удовлетворился ее ответом, но это продолжалось недолго.

– По твоим же словам, Шарлотта не все могла ей рассказать. Как ты сама-то это понимаешь? Как ты понимаешь то, что и князь ничего ей не рассказал? Допустим, можно понять, что некоторые вещи ей рассказать невозможно, раз уж, ты говоришь, ее так легко напугать и шокировать. – Он высказывал свои возражения не торопясь, с паузами, давая ей время прекратить свои блуждания по комнате и снова подойти к нему. Но она все еще продолжала блуждать, когда он завершил свой вопрос: – Если между ними не было ничего такого, чему не следовало быть, до тех пор, пока Шарлотта не сбежала – сбежала, ты говоришь, именно для того, чтобы

ничего подобного не произошло, что ж тогда такого было настолько ужасного, что об этом и рассказать нельзя?

После такого вопроса миссис Ассингем еще немного походила по комнате и, даже остановившись, уклонилась от прямого ответа.

– Ты, кажется, хотел, чтобы я успокоилась.

– Я этого и хочу, вот и стараюсь тебя успокоить, чтобы ты больше не волновалась. Можешь ты мне ответить и на этом успокоиться?

Миссис Ассингем подумала – и решила попробовать.

– Я очень хорошо чувствую, что Шарлотта не хочет рассказывать о том, как ей пришлось «пуститься в бега», и именно по тем причинам, о которых мы сейчас говорили, пусть даже бегство помогло ей добиться того, чего она добивалась.

– А, ну, если бегство помогло ей добиться, чего она добивалась... – Но полковник не окончил фразы, «если» повисло в воздухе, а жена его не подхватила. Так оно и висело какое-то время, пока полковник не заговорил снова. – В таком случае остается удивляться только одному: чего ради она теперь к нему вернулась?

– Не скажи! Она вернулась не к нему. На самом деле – не к нему.

– Я скажу все, что твоей душечке будет угодно. Но это мне не поможет, если ты сама того не скажешь.

– Дорогой, тебе ничто не поможет, – не осталась в долгу миссис Ассингем. – Тебя, по сути, ничто не волнует. Тебе лишь бы насмеяться над тем, что я не желаю умыть руки...

– А я думал, ты как раз это и собираешься сделать, раз все обстоит так хорошо и правильно.

Но миссис Ассингем продолжала без запинки, поскольку ей уже случалось много раз высказываться на эту тему.

– На самом деле ты ко всему равнодушен, ты абсолютно безнравственный. Ты участвовал в захвате и разграблении городов и наверняка совершал ужасные вещи. Но я не стану волноваться по этому поводу, вот тебе! – рассмеялась она.

Полковник стерпел ее смех, но по-прежнему упорно гнул свое.

– Ну а я ставлю на бедняжку Шарлотту.

– «Ставишь» на нее?

– На то, что она лучше всех знает, чего хочет.

– О, в этом-то я не сомневаюсь. Она, безусловно, знает, чего хочет. – И тут миссис Ассингем предъявила эту загадочную величину, словно зрелый итог своих блужданий и размышлений. Во все время их разговора она нащупывала нить и вот наконец поймала. – Она хочет быть несравненной.

– Она такая и есть, – заметил полковник почти цинично.

– Она хочет, – теперь уже миссис Ассингем крепко держала нить в руках, – она хочет быть лучше всех, и она на это способна.

– Способна хотеть?

– Способна осуществить свою идею.

– И в чем же заключается ее идея?

– Позаботиться о Мегги.

Боб Ассингем слегка удивился:

– В чем позаботиться?

– Во всем. Она знает князя. А Мегги не знает. Нет, – признала миссис Ассингем, – не знает, наша душечка.

– Выходит, Шарлотта приехала давать ей уроки?

Фанни Ассингем продолжала развивать свою мысль:

– Она добилась для него этого огромного события. То есть год назад она практически добилась этого. Во всяком случае, практически помогла ему самому этого добиться и помогла мне ему помочь. Она уехала, она не вернулась, она отпустила его на свободу; а что такое это ее молчание по отношению к Мегги, как не прямая помощь ему? Если бы она все рассказала во Флоренции, если бы поведала свою грустную историю, если бы вернулась – в любой момент раньше, чем несколько недель назад, если бы не поехала в Нью-Йорк и не просидела там достаточное время, если бы она не сделала всего этого, то сейчас, конечно, все было бы по-другому. Она знает князя, – повторила миссис Ассингем. И даже прибавила то, что уже отмечала прежде: – А Мегги, наша душечка, его не знает.

Ее охватил какой-то восторженный, прямо-таки вещей порыв, и тем глубже пришлось ей упасть, спускаясь до уровня низменного здравомыслия своего мужа.

– Другими словами, Мегги по незнанию грозит опасность? Так значит, все-таки опасность имеется?

– Не будет никакой опасности, потому что Шарлотта все это понимает. Вот откуда у нее явилась эта идея, что она способна на героизм, на истинное величие души. Она способна, она сможет. – Славная леди уже вся так и лучилась. – Так она это видит: стать для своего лучшего друга залогом абсолютной безопасности.

Боб Ассингем напряженно задумался.

– А кого из них ты называешь ее лучшим другом?

Фанни Ассингем нетерпеливо потрянула головой.

– Сам догадывайся! – Но она уже всем сердцем приняла открывшуюся ей великую истину. – Поэтому мы должны стать для нее опорой.

– «Для нее»?

– Ты и я. Мы с тобой должны стать опорой для Шарлотты. Наша задача – помочь ей перенести все это.

– Перенести свое величие души?

– Свое благородное одиночество. Только – это-то и есть самое главное! – она не должна остаться одинокой. Все будет совсем замечательно, если она выйдет замуж.

– Стало быть, мы должны выдать ее замуж?

– Мы должны выдать ее замуж. Это будет мой великий подвиг, – продолжала миссис Ассингем, вдохновляясь все больше и больше. – Это все искупит.

– Что искупит?

Но она молчала, и полковнику снова потребовались разъяснения.

– Если все так замечательно, при чем тут искупление?

– Ну, на случай, если я нечаянно причинила зло кому-то из них. Если вдруг я совершила ошибку.

– Ты ее искупишь тем, что совершишь другую? – И поскольку она опять не торопилась с ответом: – Мне показалось, ты сейчас говорила в основном о том, в чем ты вполне уверена.

– Ни в чем никогда нельзя быть абсолютно уверенным. Всегда существуют разные возможности.

– Так если мы можем только каждый раз стрелять в белый свет, как в копеечку, зачем постоянно лезть в чужие дела?

Тут она снова взглянула на него.

– Хорош бы ты был, дорогой, если бы я не полезла в твои дела!

– А, это совсем не то. Я был твой, собственный. Я был твой, – сказал полковник, – потому что ничего не имел против.

– Ну, так и эти люди ничего не имеют против. Они тоже мои – в том смысле, что я их ужасно люблю. И еще в том смысле, – продолжала она, – что, по-моему, они тоже меня любят не меньше. Между нами существуют общие отношения, это реальность, и прекрасная реаль-

ность; все мы перемешались, так сказать, и теперь уже поздно пытаться что-то изменить. Приходится жить в этом и с этим. Поэтому нужно позаботиться, чтобы Шарлотта нашла хорошего мужа и как можно скорее – я просто не могу иначе! Это решит все проблемы. – И поскольку муж все-таки смотрел недоверчиво, миссис Ассингем пояснила: – Под проблемами я подразумеваю малейшие тревоги, какие у меня еще могли остаться. В сущности, это мой долг, и я не успокоюсь, пока не исполню своего долга. – К этому времени она успела взвинтить себя до какого-то экстаза. – Если понадобится, я посвящу этому всю свою жизнь на ближайшие год-два. Тогда я буду знать: я сделала все, что могла.

До него, наконец, дошло.

– Ты считаешь, нет пределов тому, что ты «можешь»?

– Я не говорю, что нет пределов, и вообще ничего такого не говорю! Я говорю, что у нас неплохие шансы – достаточно, чтобы надеяться. А почему бы им не быть, ведь речь-то, в конце концов, идет не о ком-нибудь, а о Шарлотте.

– Твое «в конце концов» означает, что она в конце концов влюбилась в кого-то другого?

Полковник задал вопрос очень тихо, явно рассчитывая произвести убийственный эффект, но его жена даже не запнулась.

– Она не настолько влюблена, чтобы не захотела выйти замуж. Как раз сейчас ей этого особенно хочется.

– Это она тебе сказала?

– Нет пока. Еще рано. Но она скажет. Но мне и говорить не нужно. Ее замужество докажет, что все правда.

– Что правда?

– Все, что я говорю, правда.

– Кому докажет?

– Да хотя бы мне. С меня будет довольно, что я помогу ей. Это докажет, – помолчав, снова заговорила миссис Ассингем, – что она исцелилась. Что она примирилась со сложившейся ситуацией.

Полковник удостоил это высказывание долгой затяжки из своей трубки.

– А ситуация будет состоять в том, что она сделает то единственное, что может ей помочь основательно замести следы?

Жена посмотрела на него, на этого славного суховатого человека, словно теперь, наконец, он позволил себе настоящую вульгарность.

– То единственное, что может ей помочь выйти на новый путь. И прежде всего, это будет мудро и правильно. Это лучше всего даст ей возможность проявить величие души.

Полковник медленно выпустил струю дыма.

– И тем самым даст тебе наилучшую возможность проявить величие души заодно с ней?

– Во всяком случае, я постараюсь, насколько смогу.

Боб Ассингем встал.

– И ты еще называешь меня безнравственным?

Тут уж миссис Ассингем на мгновение растерялась.

– Могу назвать тебя глупым, если угодно. Но, знаешь ли, глупость, доведенная до определенного предела, это и есть безнравственность. Ведь что такое нравственность, если не высочайший интеллект? – Этого он не умел ей сказать, и она закончила весьма решительно: – Кроме того, даже в самом худшем случае, все это так увлекательно!

– О, ну, если дело только в этом...

Подразумевалось, что в таком случае у них найдется общая почва; но она не поддавалась и на эту провокацию.

– Ах, – проговорила миссис Ассингем, уже стоя на пороге, – для меня это слово значит совсем не то же самое, что для тебя. Спокойной ночи!

И она погасила электрический свет. В ответ полковник как-то странно, отрывисто про-
стонал, почти можно сказать – хмыкнул. По-видимому, это слово для него действительно что-
то значило.

5

– А теперь я должна тебе кое-что сказать, потому что я хочу быть абсолютно честной. – Так, несколько зловеще, начала разговор Шарлотта, когда они оказались в Гайд-парке. – Я не желаю притворяться и не могу притворяться ни минутой дольше. Можешь думать обо мне, что хочешь, мне все равно. Я знала, что так и будет, и теперь вижу, насколько мне это безразлично. Я для этого приехала. На самом деле – только для этого. Для этого, – повторила она.

От ее тона князь остановился на полном ходу.

– Для «этого»? – Он говорил так, словно не очень ясно представлял, о чем идет речь, и, во всяком случае, не придавал этому большого значения.

Но она-то была намерена придать этому как можно больше значения.

– Чтобы провести один час наедине с тобой.

Ночью шел сильный дождь, и хотя мостовая уже просохла благодаря все очищающему ветерку, августовское утро было прохладное и пасмурное, с нависшими тучами и посвежевшим воздухом. Многолиственная зелень парка стала как будто еще гуще, от земли поднимался запах здоровой поливки, смывшей пыль и разные менее приятные ароматы. Едва они вошли в парк, Шарлотта огляделась вокруг, словно здоровалась со всем окружающим, как со старым знакомцем: даже здесь, в самом сердце Лондона, день стоял типично английский, благоуханный, умытый дождем. Как будто он ее ждал, как будто она его знала, узнавала, любила его, как будто отчасти ради него вернулась сюда. Впрочем, эти тонкости едва ли были доступны восприятию непонятливого итальянца; для такого требуется осененный благодатью американец, точно так же, как и для многого другого нужно быть осененным благодатью американцем, лишь бы только не требовалось при этом оставаться в Америке, благодатной или не очень. По предварительной договоренности князь заехал за гостьей миссис Ассингем на Кадоган-Плейс в половине одиннадцатого, и вскоре они уже прошли вдвоем по Слоун-стрит и, не задерживаясь, вступили в Гайд-парк со стороны Найтсбриджа. Соответствующее соглашение было достигнуто через пару дней как неизбежно вытекающее из просьбы Шарлотты, высказанной в те первые минуты в гостиной миссис Ассингем. Просьба девушки за пару дней нисколько не потеряла своей силы – напротив, все как будто способствовало тому, чтобы выказать ее в более ярком свете, и было совершенно очевидно, что тут неуместны какие бы то ни было возражения. Да и кому было возражать, если уж миссис Ассингем, зная все, не вмешивалась и не проявляла ни малейшего неодобрения? Об этом спрашивал себя молодой человек, вполне явственно ощущая, как легко ему выставить себя на посмешище. Одно, по крайней мере, ясно – он не станет с самого начала показывать свой страх. Да если поначалу он и испытывал страх, это чувство уже заметно притупилось; так, в целом, удачно, можно сказать – благоприятно, подействовал на него двухдневный промежуток.

В течение этого времени князь занимался главным образом тем, что активно принимал у себя гостей, съехавшихся на свадьбу, а Мегги с неменьшим увлечением общалась с подругой, которая по ее настойчивому приглашению проводила целые часы на Портленд-Плейс. Мегги пока еще не пригласила ее окончательно переселиться к ним, поскольку это было бы не совсем удобно, но когда бы князь ни заглянул сюда, Шарлотта вместе с другими, с его собственными гостями, присутствовала за завтраком, за чаем, за обедом, за всеми этими непрерывными трапезами – никогда еще в жизни князю не приходилось столько есть. Если за все это время, вплоть до настоящего часа, он ни разу не виделся с Шарлоттой наедине дольше, чем на минуту, так ведь и с Мегги тоже, а если уж он не виделся с Мегги, самая естественная вещь на свете – не видеться с Шарлоттой. Единственная минута-исключение состоялась, когда они мимолетно отстали от остальных на широкой лестнице дома на Портленд-Плейс, и этого Шарлотте хватило, чтобы напомнить ему об их плане – настолько она была уверена в его готовности. Если

они вообще намерены сделать это, то время поджигает. Все привезли с собой подарки; его родные привезли просто чудесные вещи: откуда у них, как у них еще сохранились подобные сокровища? Одна она ничего не привезла, и ей очень стыдно; но даже зрелище прочих великолепных даров не может отпугнуть ее. Она найдет подарок по своим возможностям, а князь ей поможет, помня при этом, что Мегги ничего не должна знать. Князь постарался растянуть минуту, чтобы измыслить резон, а затем рискнул высказать свой резон вслух. Рискнул – потому что он мог ее обидеть, уязвить ее гордость, если гордость у нее была именно такого рода. Но уж если она так и так будет уязвлена, не все ли равно, каким именно образом? К тому же именно такого рода гордостью Шарлотта не страдала. И потому его слабое сопротивление на лестнице было легким ровно настолько, чтобы быть вообще возможным.

– Мне очень не хочется, чтобы вы тратили свои деньги – и на такую цель, в конце-то концов.

Она стояла на ступеньку-другую ниже князя и, глядя на него снизу вверх в сиянии люстры под высоким сводчатым потолком холла, водила ладонью по полированным перилам красного дерева, опирающимся на чугунную кованую решетку в английском стиле восемнадцатого века.

– Из-за того, что у меня их, по-вашему, очень мало? Нет, денег у меня достаточно – во всяком случае, на час нам хватит. Достаточно, – улыбнулась она, – это же целый пир! И притом, – сказала Шарлотта, – разумеется, о дорогом подарке нет и речи, Мегги ведь и так по горло в сокровищах. Я не стремлюсь с кем-то соревноваться, кого-то затмевать. Само собой, чего у нее только нет по части бесценных вещей? Мой подарок волей-неволей должен оказаться приношением бедняка. Пусть это будет нечто такое, что вот именно не подарит ей никто из богачей, а поскольку она и сама чересчур богата, чтобы покупать подобные вещи, то им у нее и взяться неоткуда! – Похоже, Шарлотта много об этом думала. – Но раз уж мой подарок не может быть изысканным, он должен быть забавным – за чем-то в этом духе мы и будем охотиться. Охота в джунглях Лондона, это уже само по себе забавно.

Князь отчетливо запомнил, как поразило его это ее словечко.

– «Забавно»?

– О, я не имела в виду комическую игрушку – я имела в виду какую-нибудь вещицу, обладающую шармом. Но чтобы она была абсолютно на месте в своей сравнительной дешевизне. Вот что я называю забавным, – объяснила Шарлотта. – Когда-то, – прибавила она еще, – вы мне помогали дешево покупать разные вещи в Риме. Вы замечательно умеете сбивать цену. Нечего и говорить, что я храню их до сих пор – все те удачные покупки, которыми я обязана вам. В августе в Лондоне тоже можно сделать удачную покупку.

– Ах, но я совсем не разбираюсь в английских методах совершения покупок и, по правде сказать, нахожу их скучными. – В этих скромных пределах он позволил себе возразить, поднимаясь вместе с нею по лестнице. – Тех милых бедных римлян я хорошо понимал.

– Это они вас понимали, потому вам и нравилось, – засмеялась она. – А здесь увлекает как раз то, что нас не понимают. Будет весело, вот увидите.

Если он еще продолжал колебаться, то лишь потому, что тема допускала небольшое колебание.

– Веселье, разумеется, должно заключаться в том, чтобы разыскать подарок, как мы и собирались.

– Конечно, и я о том же говорю.

– Ну а если они не захотят сбавить цену?

– Тогда мы немного уступим. Всегда что-нибудь можно придумать. А кроме того, князь, – продолжала она, – я ведь, если на то пошло, не совсем еще нищая. Я не все могу себе позволить, – странная девушка, она сказала это так легко, – но кое-что все-таки могу. – На верхней ступеньке лестницы она остановилась опять. – Я сэкономила.

Тут князь по-настоящему усомнился:

– В Америке?

– Да, именно там – все для той же цели. И знаете, – закончила она, – не нужно откладывать дальше, чем до завтра.

Вот и все, что случилось в тот раз, разве что еще десяток слов прибавить. И все это время князь отчетливо ощущал, что просить пощады бесполезно; это значило бы лишь усугубить ситуацию. С тем, что есть, он еще как-нибудь справится, но он готов был сделать что угодно, только бы не усугублять. Кроме того, жаль вынуждать Шарлотту к мольбам. Он ее вынудил, она умоляла его, а этого не допускала своеобразная деликатность князя. Вот так и получилось то, что получилось: князь всеми своими силами отдался стратегии неусугубления. Он продолжал в том же духе даже и тогда, когда Шарлотта заметила, – да еще таким тоном, словно в этом и состояла самая суть дела, – что Мегги ничего не должна знать. По крайней мере, половина всего интереса заключается в том, чтобы Мегги ничего не заподозрила, и потому князь должен скрыть от нее, и Шарлотта тоже скроет, что они куда-то ходили вместе и вообще хоть на пять минут встречались наедине. Короче говоря, для их затеи жизненно необходима полная секретность; Шарлотта возвала к его доброте, прося не выдавать ее. Сказать по правде, подобная просьба накануне свадьбы слегка тревожила: одно дело – случайная встреча в доме миссис Ассингем, и совсем другое – вот так договариваться о том, чтобы провести утро вдвоем, почти как когда-то в Риме, и практически в столь же интимном духе. О тех нескольких минутах на Кадоган-Плейс он в тот же вечер рассказал Мегги, хотя и не упомянул об отлучке миссис Ассингем, равно как и о предложении, которое их приятельница успела высказать за этот краткий промежуток времени. Но что послужило причиной его попытки уклониться от участия в каком бы то ни было подарке, в каком бы то ни было секрете, что заставило его, стоя на верхней площадке лестницы, замяться ровно настолько, чтобы Шарлотта успела заметить его колебание, так это ощущение явного сходства между ее маленьким планом и теми их прошлыми встречами, от которых он теперь совершенно отрешился – во всяком случае, хотел отрешиться. Похоже было, как будто что-то начинается вновь, а уж к этому князь никак не стремился. Вся сила, вся красота его нынешней позиции состояла в том, что он начинает все с нуля, и то, что начинается, будет чем-то абсолютно новым. Эти обрывочные мысли промелькнули так быстро, что к тому времени, как Шарлотта прочла их на его лице, князь уже ясно видел образуемый ими смысл. Шарлотта, едва прочтя, бросила им ответный вызов: «Так вы хотите пойти и все рассказать ей?» – отчего они сделались почему-то смехотворными. Тогда князь поскорее вернулся к своей прежней тактике – как можно меньше «суетиться попусту». Демонстрировать угрызения совести, очевидно, означает «суетиться попусту», и в свете этой истины князь немедленно ухватился за спасительный принцип, неизменно помогающий в любой ситуации.

Этот принцип очень прост и состоит в том, чтобы вести себя с девушкой просто – до крайнего предела простоты. Это все покрывает. В частности, скрывает, с какой готовностью князь покорился очевидному, а именно: то, о чем она просит, такая малость по сравнению с тем, что она отдает. Это его тронуло – ведь Шарлотта в эту минуту, стоя с ним лицом к лицу, явила ему всю полноту своего отречения. Она действительно отрекалась – отрекалась от всего и даже не старалась подчеркнуть, как много все это для нее значило. Требовала она только одного – сохранить в тайне назначенную встречу. И это в обмен на «все», все, от чего она отказывается, – поистине, пустяк! И потому князь позволил себе подчиниться ее руководству. Так быстро он подчинился, в своем великодушном озарении, любому повороту дела, какой придется ей по душе, что его покорность начала проявляться еще прежде, чем они ушли из парка. В соответствии с этим им вскоре потребовалось ненадолго присесть на дешевые платные стулья и осмотреться; минут десять они провели таким образом под одним из самых раскидистых деревьев парка. Прогуливаясь, они перешли на подстриженную траву, промытую дождем, после того, как убедились, что она уже просохла. Стулья стояли спинками к широкой аллее, главной дорожке и к виду на Парк-Лейн, лицом к обширному зеленому газону, словно

подчеркивающему их свободу. Это позволило Шарлотте еще яснее выразить свою позицию – временную позицию, – и, возможно, оттого она и выбрала так внезапно именно это место, заведя его издали. Князь вначале остался стоять перед ней, как бы напоминая о необходимости не терять времени даром, на чем она сама прежде настаивала; но после того, как Шарлотта произнесла несколько слов, ему ничего не оставалось, как вернуться к своему обычному добродушию. Этой уступкой он как бы давал понять, что, если он в конце концов согласился на ее предложение, надеясь найти во всем этом нечто «забавное», то и любая зародившаяся у нее идея должна способствовать тому же результату. Вследствие чего, дабы не противоречить самому себе, князю пришлось воспринимать как нечто забавное ту правду, которая была правдой для Шарлотты и которую она повторяла снова и снова.

– Мне безразлично, что вы обо мне подумаете, я прошу вас только об одном и ни о чем больше. Я просто хотела это сказать, только и всего; я хочу знать, что сказала вам это. Еще раз увидеть вас, быть с вами, вот как сейчас и как бывало раньше, на один-единственный час – или, скажем, на два, – вот о чем я думала долгие недели. Само собой, я имею в виду – сделать это до... До того, как случится то, что вы планируете. Так что, как видите, все зависело от того, успею ли я вовремя, – продолжала она, не сводя с него глаз. – Если бы не получилось приехать сейчас, я бы, наверное, и совсем не приехала. Может быть, даже вообще никогда. Раз уж я здесь, я останусь, но там, за океаном, были моменты, когда я совершенно отчаивалась. Было нелегко, по некоторым причинам, но дело обстояло так: или это, или ничего. Как видите, я боролась не напрасно. После... О, после мне не нужно! Нет, разумеется, – улыбнулась она, – будет просто чудесно видеться с вами даже и после, в любое время, но я никогда в жизни не стала бы приезжать ради этого. А сейчас – другое дело. Этого я и хотела. Я этого добилась. Это останется у меня навсегда. Конечно, я бы всего лишилась, – говорила Шарлотта, – пожелай вы лишить меня этого. Если бы вы решили, что я веду себя ужасно, если бы отказались прийти, все мои планы, разумеется, в ту же минуту «накрылись» бы. Пришлось рискнуть. Но вы не обманули моих надежд. Вот что я хотела вам сказать. Мне не просто нужно было провести с вами время, я хотела, чтобы вы знали. Я хотела, – говорила она медленно, тихо, с легкой дрожью в голосе, но ни на миг не сбиваясь со смысла и сути, – я хотела, чтобы вы поняли. То есть, чтобы услышали. Пожалуй, мне безразлично, поймете вы или нет. Если я ничего у вас не прошу, значит, нельзя просить и этого. Что вы можете подумать обо мне, не имеет ни малейшего значения. Я только хочу, чтобы это всегда было с вами, чтобы вы никуда не могли от этого уйти: я добилась своего. Я не буду говорить о том, что вы сделали, можете умолять, сколько вашей душе угодно. Я говорю только одно: я была здесь, с вами – там, где мы сейчас, и так, как мы сейчас, когда я говорю вам это. Иными словами, я полностью выдала себя, и готова сделать это, ничего не требуя взамен. Вот и все.

Она замолчала, – видимо, высказала все, что хотела сказать, – но пока еще не двигалась с места, словно давая ему несколько минут, чтобы ее слова проникли как следует; проникли в прислушивающийся воздух, в приглядывающееся к ним пространство, в умную приветливость природы, насколько можно было считать природой все окружающее – опошленное, лондонизированное насквозь; проникнуть, если на то пошло, хоть в ее собственные уши, только не в сознание ее пассивного и осторожного собеседника. Его сознание уделило ей ровно столько внимания, сколько было возможно; красивое лицо, чуть настороженное, но выражающее прежде всего вежливый интерес к «забавному», успешно играло свою роль. Впрочем, в глубине души он цеплялся за то, за что удобнее всего было уцепиться: за тот факт, что она отпускает его, решительно и окончательно отпускает. Похоже, она даже не требует от него ответа; и вот он улыбался ей, как бы благодаря за информацию, замкнув свои уста для тех беспорядочных, невразумительных протестов и возражений, что поднимались у него изнутри. Шарлотта наконец заговорила сама:

– Вы, может быть, спросите, что я с этого буду иметь. Но это уж мое дело.

На самом деле он не хотел знать даже этого, или же, придерживаясь своей стратегии наибольшей безопасности, держал себя так, будто это его не интересует, и длил спасительное молчание. То, что Шарлотта так хотела высказать, было, по-видимому, уже сказано, и князь обрадовался завершению этого эпизода – никогда во всю свою жизнь ему не случалось так мало участвовать в разговоре. Засим они двинулись дальше, беседуя на более отвлеченные темы, что, естественно, принесло князю большое облегчение; больше ему не приходилось теряться в поисках подходящих слов. Атмосфера, так сказать, очистилась; теперь можно было поговорить об их непосредственной задаче, о богатых возможностях Лондона в этом плане, о том, как приятно бродить по этому удивительному городу, о магазинах, о разнообразных интересных штучках, замеченных каждым из них в прошлом во время подобных блужданий. Каждый поражался обширным познаниям другого; особенно князя изумляло, насколько хорошо Шарлотта знает Лондон. Он сам гордился своими познаниями, гордился тем, что сплошь и рядом может подсказать кебмену дорогу – такая уж у него была причуда, вполне созвучная его англomanии, отличавшейся, в конце концов, скорее протяженностью, нежели глубиной. Когда его спутница, вспоминая свои прошлые приезды и прошлые прогулки, говорила о таких местах, где он никогда не бывал, и о вещах, ему до сих пор неизвестных, князь отчасти чувствовал себя чуточку униженным. Он мог бы даже ощутить легкое раздражение, если бы все это не пробуждало в нем такого интереса. Шарлотта предстала перед ним в совершенно новом свете. Ее странное свойство чувствовать себя как дома в любой точке мира князь в свое время заметил еще в Риме, но оно, безусловно, проявилось ярче на более обширной лондонской сцене. Рим по сравнению с Лондоном – всего лишь деревушка, семейное сборище, старосветский спинет, на котором можно сыграть одной рукой. Когда они дошли до Мраморной арки, князю уже казалось, что она показывает ему какую-то новую, незнакомую сторону города, что существенно помогало «забавляться». Совсем нетрудно будет найти верный тон,веряясь ее руководству.

Стоит им только заспорить, откровенно и беспристрастно, о шансах и направлениях, о цене и подлинности, и положение будет с блеском спасено. Тем не менее, как выяснилось, оба единодушно избегали лавок и магазинчиков, которые могли быть известны Мегги. Шарлотта сразу же напомнила об этом, как о чем-то само собой разумеющемся, заранее поставив условие: они не будут заходить ни в один из магазинов, где князь уже бывал когда-нибудь с Мегги.

Большой разницы это не составило: хотя князь в течение прошедшего месяца весьма часто сопровождал свою будущую жену в походах за покупками, цель этих походов составляли, как правило, отнюдь не *antiquarii*¹¹, как называл их князь заодно с Шарлоттой. Мегги попросту не было нужды покупать что-либо иначе, как на Бонд-стрит: следствие деятельности ее отца в этой отрасли торговли. Мистер Вервер, один из величайших в мире коллекционеров предметов искусства, не оставлял своей дочери случая ходить одной по антикварным лавкам; он редко имел дело с магазинами, чаще приобретал произведения искусства частным порядком, получая их издалека. Великие люди по всей Европе искали знакомства с ним; никто не знал, сколько высокопоставленных, невероятно высокопоставленных лиц в обстановке строжайшей секретности, как водится в подобных случаях, обращались к нему как к одному из очень немногих покупателей, способных заплатить требуемую цену. Таким образом, князь и Шарлотта с легкостью договорились избегать торных путей Верверов, как дочери, так и отца. Существенно только одно: обсуждая этот вопрос, они впервые заговорили о Мегги. Шарлотта еще в парке затронула эту тему – именно она начала разговор с полной невозмутимостью, что было, конечно, довольно удивительно, если вспомнить ее речи всего лишь десять минут назад. Снова она предстала перед своим спутником в новой тональности – как он сам бы выразился, в новом свете. Князь, хоть и не подавал виду, в глубине души восхищался простотой и легкостью

¹¹ Антиквары (*ant.*).

этого перехода, который она не взяла на себя труд ни отметить, ни объяснить. Совершился переход все на том же газоне; Шарлотта внезапно остановилась перед князем со словами:

– Ей, конечно, сгодилось бы что угодно, она ведь такая душечка. Хоть бы даже я вздумала преподнести ей подушечку для булавок с дешевой распродажи на Бейкер-стрит.

– Вот и я о том же, – рассмеялся князь этому намеку на их отрывочный разговор на Портленд-Плейс. – Именно это я и предлагал.

Между тем Шарлотта и внимания не обратила на его напоминание. Она продолжала свое:

– Но это же не довод. Если так рассуждать, никто ничего не стал бы для нее делать. Я хочу сказать, – пояснила Шарлотта, – если бы все начали злоупотреблять особенностями ее характера.

– Ее характера?

– Не нужно злоупотреблять особенностями ее характера, – продолжала девушка, все так же пропуская мимо ушей реплику князя. – Так нельзя, если не ради нее, то хотя бы ради себя. С нею всегда можно сэкономить массу хлопот.

Шарлотта говорила задумчиво, не отрывая взгляда от лица собеседника. Можно было подумать, что она с чисто практической заботой ведет речь о каком-то человеке, который князю сравнительно мало знаком.

– Во всяком случае, она никому не причиняет хлопот, что верно, то верно, – проговорил князь. И прибавил, как будто его слова прозвучали недостаточно определенно: – У нее на это, прости господи, эгоизма не хватит.

– И я то же самое хотела сказать, – немедленно подхватила Шарлотта. – У нее не хватает эгоизма. Просто нет никакой необходимости что-то делать для нее, абсолютно никакой. Она такая скромная, – углубляла свою мысль Шарлотта, – и всегда обходится малым. То есть, если кто-то ее любит... Или, вернее, нужно было сказать – если она кого-то любит. Тогда она все оставляет без внимания.

Князь слегка сдвинул брови, словно отдавая все же дань серьезности.

– Что оставляет?

– Да все – все, что вы могли сделать, но не сделали. Она все оставляет без внимания, кроме только своего собственного желания быть доброй к вам. Она требует усилий только от себя самой, ни от кого другого... Если еще ей вообще приходится требовать. Но ей особенно и не приходится. У нее все получается само собой. И это ужасно.

Князь внимательно слушал, но, блудя приличия, не высказывал своего мнения.

– Ужасно?

– Ну, если только вы сами не будете почти таким же хорошим, как она. Она создает для человека слишком благоприятные условия. Нужно иметь большой запас порядочности, чтобы такое выдержать. А такой порядочности нет ни у кого, – тем же тоном продолжала Шарлотта, – нет такого порядочного, такого хорошего человека, чтобы все это выдержал. Разве что если обратиться к религии или к чему-нибудь в этом роде. Предаться молитве и посту, словом – стараться изо всех сил. Уж мы-то с вами точно не такие, – сказала Шарлотта.

Князь добросовестно размышлял с минуту.

– Недостаточно хорошие, чтобы это выдержать?

– По крайней мере, мы недостаточно хороши, чтобы не почувствовать такой нагрузки.

По-моему, мы с вами из тех, кого легко избаловать.

Ее собеседник, опять-таки блудя приличия, поддержал дискуссию:

– Право, не знаю. Разве любовь к ней не может укрепить ту самую порядочность, ослабленную ее любовью к вам, ее «порядочностью»?

– Ах, разумеется, должно быть, все так и есть.

Но все-таки она сумела заинтересовать его своим вопросом.

– Я понимаю, что вы имели в виду: все дело в том, что, если уж она кому доверяет, то доверяет беспредельно.

– Да, в этом все и дело, – согласилась Шарлотта Стэнт.

– А почему, – спросил князь почти ласково, – почему это так ужасно?

Ему никак не удавалось этого понять.

– Потому что так всегда бывает, когда человека невольно жалеешь.

– Нет, если вместе с этим хочешь и помочь.

– Да, но если нельзя помочь?

– Можно. Помочь всегда можно. То есть, – прибавил он со знанием дела, – если любишь этого человека. А ведь мы с вами говорим как раз об этом.

– Да, – согласилась она в общем и целом. – Значит, все сводится к тому, чтобы мы отказались избаловаться.

– Конечно. Но ведь к этому и вообще все сводится, – со смехом прибавил князь, – вся ваша так называемая «порядочность».

С минуту она молча шла рядом с ним. Потом рассудительно проговорила:

– Именно это я и хотела сказать.

6

Продавец из антикварной лавчонки, где некоторое время спустя они задержались особенно долго – мелкий, но интересный торговец на одной из улочек Блумсбери, отличавшийся особым рода настойчивостью, без навязчивости, поскольку практически без слов, но в то же время необыкновенно убедительной, – так вот, этот персонаж устремил на посетителей взгляд совершенно удивительной пары глаз, переводя его с одного на другую, пока те рассматривали изделие, которым торговец явно больше всего рассчитывал их соблазнить. Они зашли к нему в последнюю очередь, ибо время их уже практически истекло, причем не меньше часа из этого времени, с той минуты, когда они уселись в наемный экипаж у Мраморной арки, не принесло ровно никаких результатов, если не считать того развлечения, которого они с самого начала ожидали от этой вылазки. Конечно, предполагалось, что развлечение будет состоять в поиске подарка, но подразумевалось также и обретение вышеупомянутого подарка, каковое явилось бы излишним только в том случае, если бы состоялось чересчур скоро. Теперь же вопрос стоял следующим образом: найдут ли они что-нибудь вообще? Об этом они и спрашивали друг друга, стоя посреди антикварной лавочки в Блумсбери и сосредоточив на себе пристальное внимание торговца. Очевидно, он сам был владелец магазинчика и предан своему делу всей душой. Очень может быть, что главным в своем деле он почитал особый секрет – держаться с посетителями настолько тактично, что это как бы набрасывало на их взаимоотношения некий покров торжественности. У него было не так уж много вещей для продажи, не сравнить с изобилием «трухи», виденной ими в других местах, и нашим знакомцам на первый взгляд даже показался выбор столь скудным, при очевидно невысоких ценах, что это чуть ли не вызывало жалость.

При более внимательном взгляде впечатление оказалось иным. Правда, показывали им все больше мелкие предметы, кое-что было взято из маленькой оконной витрины, что-то – из шкафчика за прилавком, сумрачно темневшего в углу, несмотря на стеклянные дверцы, но каждая предъявленная вещь, пусть и скромно, говорила сама за себя, и вскоре амбиции хозяина стали достаточно ясны. Ассортимент у него был весьма разнородный и уж никак не поражающий великолепием, но все-таки приятно отличался от всего, что они видели до сих пор.

Впоследствии Шарлотта, переполненная впечатлениями, отчасти поделилась ими со своим спутником – опять-таки в целях развлечения, и среди прочих у нее сложилось впечатление, что самым диковинным экспонатом был сам владелец лавки. Князь отвечал на это, что владельца он не рассмотрел; Шарлотте и прежде случалось замечать, – о чем она не преминула сообщить князю, – что он попросту не видит людей ниже определенного общественного уровня. Для него один торговец ничем не отличается от другого – удивительная непоследовательность для человека, подмечавшего так много там, где он давал себе труд что-то заметить. Нижестоящих он воспринимал как данность. Для него все кошки были серы в ночи их низменного положения, или как бы там еще ни назвать. Он, разумеется, не желал им зла, но воспринимал их так, будто поле его зрения ограничивалось только уровнем его собственной возвышенной главы. Для Шарлотты же поле зрения охватывало всех соприкасавшихся с нею людей, в этом князь убедился своими глазами: она замечала нищих попрошаек, помнила слуг, узнавала кебменов; прогуливаясь вместе с ним, она часто подмечала красоту в чумазных детишках, восхищалась «типажами» у лавчонок мелочных торговцев. Вот и на этот раз она сочла интересным антиквара – отчасти оттого, что он с такой нежностью относился к своему товару, отчасти оттого, что он с такой нежностью отнесся... к ним самим.

– Он привязан к своим произведениям искусства, он их любит, – говорила Шарлотта, – и дело не только в том, что он любит их продавать, а может, даже и совсем не в этом. Я думаю, он с удовольствием оставил бы их у себя, если бы мог. Во всяком случае, ему хочется продавать их правильным покупателям. Мы, очевидно, правильные покупатели, он их умеет отличать на

вид; вот потому-то, как я сказала, можно было уловить, – по крайней мере, я уловила, – что мы ему понравились. Разве вы не видели, – нетерпеливо спрашивала она, – как он смотрел на нас, как он вглядывался? Сомневаюсь, чтобы на вас или на меня когда-нибудь еще так смотрели. Да, он нас запомнил! – Она говорила об этом чуть ли не с тревогой. – Но, в конце концов, все это потому, – возможно, она просто успокаивала саму себя? – потому, что с его вкусом (а у него есть вкус) он нам обрадовался, мы его поразили, он составил о нас определенное представление. Наверное, это часто бывает; мы ведь красивы, правда? А он разбирается в красоте. И потом, у него такая манера... Как он ничего не произносит губами, а сам так близко придвигает лицо – и видно: знает, что вы при этом чувствуете. Ну и манера!

Один за другим являлись перед ними изделия недурного старинного золота, старинного серебра, старинной бронзы, произведения старых резчиков и ювелиров. В конце концов весь прилавок оказался уставлен ими, а легкие тонкие пальцы хозяина с аккуратно подстриженными ногтями время от времени задевали их, касались мимолетно, нервно, любовно, как пальцы шахматного игрока задерживаются на мгновение возле фигуры, над которой он еще только раздумывает – то ли сделает ход, то ли не станет. Это были маленькие вычурные безделушки, украшения, подвески, медальоны, броши, пряжки, все, на что только можно пристроить тусклый бриллиант, бескровный рубин, жемчужину, чересчур крупную или чересчур матовую, чтобы цениться достаточно высоко; миниатюры в оправе, украшенной алмазами, давно уже утратившими ослепительный блеск; табакерки, то ли полученные в дар, то ли пожалованные кому-то великими людьми слишком уж сомнительного свойства; чашки, подносы, подсвечники, невольно вызывающие мысль о билетиках закладной лавки, обтрепанных, побуревших, вполне годившихся, сохранись они до наших дней, самим стать драгоценными диковинками. Скромную группу предметов дополняли несколько изящных памятных медалей, посвященных невесте какому выдающемуся событию; один-другой классический памятник, вещицы начала века; изделия времен консульства, времен Наполеона, храмы, обелиски, арки, воспроизведенные в крошечном размере. К этому прибавились причудливые перстни с резными камнями в технике *intaglio*, аметистами, карбункулами, каждое покоится на выцветшем атласе в коробочке с плохо действующей защелкой, каждое в должной мере наделено поэтичностью и все же недостаточно привлекательно. Посетители смотрели, перебирали, рассеянно делали вид, будто обдумывают... Но в самом их внимании сквозил скептицизм, насколько это допускали правила учтивости. Они не могли не согласиться, и в самом скором времени, сколь абсурдно было бы поднести Мегги в дар образчик из этой коллекции. Вся беда в том, что подобный подарок оказался бы претенциозным, не будучи при этом «хорош»: драгоценности такого рода слишком обычны, чтобы служить проявлением вдохновенного вкуса дарителя, и в то же время слишком примитивны, чтобы понравиться в качестве знака доброго расположения. Вот уже больше двух часов князь с Шарлоттой рыскали по городу, но так ничего и не нашли. Пришлось Шарлотте с шутивным огорчением признать:

– Если уж дарить нечто в этом духе, такая вещь могла бы хоть что-нибудь стоить только в одном случае – если дарят что-то свое.

– Ессо!¹²– откликнулся князь. – Вот видите!

За спиной у торговца выстроились разнокалиберные стенные шкафчики. Шарлотта видела, как он открывал некоторые из них, и взгляд ее задерживался на тех, чьи дверцы до сих пор не отворялись. Но она уже готова была считать ошибкой, что они заглянули сюда.

– Здесь нет ничего, что она могла бы надеть.

Ее спутник ответил не сразу.

– А как вы думаете... есть здесь что-то такое... что вы могли бы?..

¹² Ну вот! (*um.*)

Она так и вздрогнула. Во всяком случае, она даже не взглянула на безделушки. Она посмотрела прямо ему в лицо.

– Нет.

– А! – негромко воскликнул князь.

– Так вы надумали что-то мне подарить? – спросила Шарлотта.

– Почему бы нет? Небольшой подарок на память.

– На память – но о чем?

– А вот «об этом», как вы сами говорите. О нашей маленькой вылазке.

– О, я-то говорю, но ведь все дело как раз в том, что я ничего от вас не прошу. Так где же логика? – осведомилась она, но уже с улыбкой.

– Ах, логика! – рассмеялся он.

– Но логика – это все. По крайней мере, я так чувствую. Подарок на память от вас... от вас – мне... это подарок на память ни о чем. Ему не о чем напоминать.

– О, дорогая! – невнятно запротестовал князь.

Тем временем хозяин заведения стоял тут же, не отводя от них глаз, и хотя в ту минуту девушку больше всего на свете интересовала беседа, она снова встретилась с ним взглядом. Ей было приятно, что иностранный язык, на котором велся разговор, скрывает от владельца, о чем они говорят. Вполне могло показаться, что они просто обсуждают возможную покупку, поскольку князь как раз держал в руке одну из табакерок.

– Вы не вспоминаете о прошлом, – продолжала она, обращаясь к своему спутнику. – Это я вспоминаю.

Князь поднял крышку табакерки и заглянул внутрь с сосредоточенным вниманием.

– Вы хотите сказать, что вы были бы не прочь...

– Не прочь?..

– Что-то подарить мне?

На этот раз она умолкла надолго, а когда снова заговорила, могло показаться, что она, как ни странно, обращается к торговцу.

– Вы мне позволите?..

– Нет, – сказал князь в табакерку.

– Вы не приняли бы от меня подарок?

– Нет, – точно так же повторил он.

Она протяжно выдохнула – словно осторожный вздох.

– Но вы угадали, что было у меня на уме. Этого я и хотела. – И прибавила: – Я на это надеялась.

Князь отложил табакерку, занимавшую его взгляд. Очевидно, он по-прежнему не замечал пристального интереса хозяина лавки.

– Так вы для этого позвали меня с собой?

– Это уж только мое дело, – отозвалась она. – Значит, ничего не получится?

– Не получится, *saга mia*¹³.

– Совсем невозможно?

– Совсем невозможно. – И князь взял с прилавка брошку.

Вновь наступила пауза. Хозяин лавки молча ждал.

– Если я соглашусь принять от вас одну из этих прелестных вещиц, что мне с ней потом делать?

Возможно, князь наконец почувствовал легкое раздражение; он даже рассеянно глянул на хозяина, точно тот мог каким-то образом понять их беседу.

¹³ Дорогая моя (*ит.*).

– Носить ее, *per bacco!*¹⁴

– Помилуйте, где же? Под одеждой?

– Да где хотите. Впрочем, – прибавил князь, – не стоит и говорить об этом.

– Говорить об этом стоит только потому, – улыбнулась она, – что вы сами начали, *miò caro*. Я задала вполне разумный вопрос. Осуществима ли ваша идея, зависит от того, что вы на него ответите. Если я нацеплю одну из этих вещичек, чтобы сделать вам приятное, как, по вашему, могу я затем явиться домой и сказать Мегги, что это – ваш подарок?

Болтая между собой, они, случалось, в шутку употребляли эпитет «древнеримский». Когда-то он, дурачась, объяснял ей таким образом решительно все. Но ничто и никогда не выглядело настолько древнеримским, как пожатие его плеч в эту минуту.

– Не вижу, почему нет?

– Потому что, если вспомнить наше решение, будет совершенно невозможно объяснить ей повод.

– Повод? – недоуменно переспросил князь.

– По какому случаю подарок. По случаю нашей прогулки вдвоем по городу, о которой мы не должны рассказывать.

– Ах да, – заметил князь, помолчав. – Припоминаю, мы решили не говорить об этом.

– Конечно, ведь вы обещали. А одно с другим связано, как видите. Поэтому лучше не настаивайте.

Снова он, не глядя, положил безделушку на прилавок, после чего, наконец, обернулся к Шарлотте – обернулся чуточку устало, даже чуточку нетерпеливо.

– Я не настаиваю.

На время вопрос был закрыт, но тут же стало ясно, что все это несколько не помогло им сдвинуться с мертвой точки. Тороговец стоял, не шелохнувшись в своем безмерном терпении, безмолвно способствуя разговору, едва ли не равнозначный ироническому комментарию. Князь отвернулся, будто ему больше нечего было добавить, двинулся к стеклянной двери и с меньшим терпением принялся рассматривать улицу. Вдруг торговец нарушил молчание, обратившись к Шарлотте со следующими знаменательными словами:

– *Disgraziatamente, signora principessa!*¹⁵, – проговорил он с грустью, – вы видели слишком много...

Князь круто обернулся. Знаменательным был не столько смысл произнесенных слов, сколько сами эти слова, сказанные на самом неожиданном и беглом итальянском. Шарлотта обменялась с князем столь же стремительным взглядом; оба они на минуту застыли. За это время взглядами они выразили несколько вещей сразу: и беззвучное восклицание по поводу того, что злосчастный хозяин, как выяснилось, прекрасно понял весь разговор, не говоря уже о том невозможном титуле, которым он наделил Шарлотту, и взаимное уверение, что это все равно ничего не значит. Князь, не отходя от двери, заговорил с владельцем:

– Так вы итальянец?

Но ответ прозвучал по-английски:

– О боже мой, нет.

– Вы англичанин?

На сей раз отвечено было по-итальянски, с усмешкой и чрезвычайно кратко:

– *Che!*¹⁶

Торговец практически отмахнулся от вопроса, немедленно повернулся к шкафчику, доселе остававшемуся закрытым, и, отперев замок, извлек оттуда квадратную шкатулку, джой-

¹⁴ Черт возьми! (*ит.*)

¹⁵ К сожалению, госпожа княгиня (*ит.*).

¹⁶ Как же! (*ит.*)

мов двадцать в высоту, крытую потертой кожей. Шкатулку он поставил на прилавок, откинул пару крючков, поднял крышку и вынул из уютного гнездышка сосуд для питья, размером не то чтобы громадный, но побольше обычной чашки, сделанный, судя по виду, не то из старого золота, не то из какого-то другого материала, покрытого толстым слоем позолоты. Держа этот предмет очень нежно и церемонно, торговец установил его на маленькой атласной салфетке.

– Моя золотая чаша, – проговорил он, и эти слова в его устах прозвучали так, словно они все объясняли. Он предоставил выдающемуся произведению искусства говорить за себя – а что произведение «выдающееся», стало ясно как-то само собой. Простой, но удивительно изящный сосуд на круглой ножке с невысоким основанием, чуть расширяющимся книзу. Чаша, хотя и неглубокая, оправдывала такое название не только своей формой, но и оттенком поверхности. Можно было вообразить, что это большой кубок, уменьшенный по высоте наполовину, отчего очертания его только выиграли. Если он отлит из чистого золота, это действительно впечатляет и вполне может отпугнуть экономного покупателя. Шарлотта тут же бережно взяла чашу в руки, тогда как князь, отойдя на несколько шагов от окна, наблюдал издали.

Шарлотта не ожидала, что чаша окажется такой тяжелой.

– Золото? Настоящее золото? – спросила она торговца.

Тот чуть выждал.

– Присмотритесь получше. Может быть, вы поймете.

Она всмотрелась, подняв чашу обеими стройными руками, обернувшись к свету.

– Может быть, для такого изделия она стоит дешево, но для меня, боюсь, слишком дорого.

– Что ж, – сказал торговец, – я могу отдать ее дешевле настоящей цены. Видите ли, мне она досталась дешевле.

– Так сколько?

Снова он выжидал, взирая все так же невозмутимо.

– Значит, вам понравилось?

Шарлотта обернулась к своему другу:

– А вам нравится?

Князь, не подходя ближе, взглянул на владельца:

– Cos'è?¹⁷

– Если вы непременно хотите знать, signori miei¹⁸, это всего-навсего чистейший хрусталь.

– Разумеется, мы хотим знать, per Dio!¹⁹ – воскликнул князь. Но тут же опять отвернулся и вновь занял свой пост у стеклянной двери.

Шарлотта поставила чашу. Девушка явно была очарована.

– Вы хотите сказать, она вырезана из цельного куска хрусталя?

– Если и нет, ручаюсь, вы никогда в жизни не найдете, где соединяются части.

Шарлотта изумилась:

– Даже если соскрести позолоту?

Торговец почтительно дал понять, что она его насмешила.

– Позолоту нельзя соскрести, она слишком хорошо наложена. Не знаю, когда это было сделано, и как – тоже не знаю. Но это был прекрасный старый мастер и прекрасная старинная технология.

Шарлотта, откровенно любуясь чашей, наконец-то ответила улыбкой на улыбку хозяина.

– Забытое искусство?

– Скажем, забытое искусство.

¹⁷ Что это? (*ит.*)

¹⁸ Господа мои (*ит.*).

¹⁹ Клянусь Богом! (*ит.*)

– Но к какой же эпохе относится все изделие?

– Скажем так же – к забытой эпохе.

Девушка задумалась.

– Если это такая драгоценность, отчего же стоит так дешево?

И снова торговец замедлил с ответом, но тут князь потерял терпение.

– Я подожду вас на воздухе, – сказал он своей спутнице.

Хотя он говорил без раздражения, но в подтверждение своих слов сразу же вышел на улицу, и в следующую минуту оставшиеся внутри увидели, как он остановился спиной к витрине и с философским спокойствием закурил свежую сигарету. Шарлотта не стала торопиться: она знала, как он любит лондонскую уличную жизнь на свой забавный итальянский лад.

Тем временем хозяин в конце концов ответил на ее вопрос:

– Ах, она у меня уже давно и все никак не продается. Думаю, я хранил ее для вас, сударыня.

– Хранили для меня, потому что думали, я не догадаюсь, в чем ее изъян?

Торговец все так же прямо смотрел ей в лицо, словно всего лишь следуя игре ее ума.

– А в чем ее изъян?

– О, это не я вам, это вы мне должны сказать, как совесть подскажет. Само собой, я понимаю, что-то должно быть.

– Но если вы сами не можете заметить, то как будто ничего и нет?

– А может быть, я замечу, как только уплачу за нее?

– Нет, – упорствовал хозяин, – если заплатите не слишком много.

– Что вы называете «не слишком много»?

– Ну... Пятнадцать фунтов – что скажете?

– Скажу, – не задумываясь, ответила Шарлотта, – что это, безусловно, многовато.

Торговец покачал головой, медленно и печально, но непреклонно.

– Это моя цена, сударыня. Если вещь вам понравилась, думаю, она вполне могла бы стать вашей. Это не многовато. Скорее, маловато. Почти даром. Больше уступить не могу.

Шарлотта, продолжая сопротивляться, в недоумении склонилась над чашей.

– Значит, ничего не выйдет. Я не могу столько потратить.

– Ах, – возразил торговец, – на подарок всегда можно потратить больше, чем на себя самого.

Он говорил так вкрадчиво, что Шарлотта даже не подумала, что называется, поставить его на место.

– Ну, конечно, если только в подарок...

– Это был бы прелестный подарок.

– А разве можно, – спросила Шарлотта, – дарить вещь, о которой знаешь, что в ней имеется изъян?

– Достаточно всего лишь предупредить об этом, – улыбнулся человек. – Этим вы докажете чистоту своих намерений.

– И предоставлю тому, кому дарю, самостоятельно отыскивать дефект?

– Он не отыщет... Если речь идет о джентльмене.

– Я не имела в виду какого-то определенного человека, – сказала Шарлотта.

– Ну, кто бы ни был. Пусть он будет знать, пусть будет пытаться. Он не найдет.

Шарлотта не сводила с торговца глаз, как будто, хоть его загадочные речи ее не удовлетворили, чаша околдовала ее.

– Даже если эта штука вдруг развалится на куски? – И поскольку торговец молчал: – Даже если он потом скажет мне: «Золотая чаша разбита»?

Хозяин все молчал и вдруг улыбнулся самой странной из своих улыбок.

– А-а, если кто-то захочет ее разбить...

Шарлотта рассмеялась; выражение лица маленького торговца привело ее в восторг.

– Вы хотите сказать, ее можно разбить молотком?

– Да, если иначе не получится. А можно просто бросить с силой... скажем, на мраморный пол.

– О, мраморные полы!.. – Впрочем, вполне возможно, что она думала об этом, ведь мраморные полы в самом деле были связаны со многим... с ее... и его древним Римом, с дворцами, которым принадлежало его прошлое, а немножко и ее, с его возможным будущим, со всей роскошной обстановкой его женитьбы, с богатством Верверов. Но были и другие вещи, и все они вместе на несколько минут завладели ее воображением.

– А разве хрусталь бьется – если это настоящий хрусталь? Я думала, его главное достоинство – прочность?

Ее собеседник уточнил:

– Главное достоинство хрусталя в том, что это хрусталь. Но прочность хрусталя, условно, придает ему надежности. Хрусталь не бьется, как низкое стекло. Он разламывается по трещине – если только в нем имеется трещина.

– А! – выдохнула Шарлотта с живым интересом. – Если есть трещина. – Она снова взглядела в чашу. – Так здесь есть трещина, да? Хрусталь может треснуть?

– По особым линиям, по своим собственным законам.

– Вы хотите сказать, если есть какое-то слабое место?

Вместо ответа, торговец, помедлив, снова взял чашу в руки, поднял повыше и легонько ударил по ней ключом. Раздался нежнейший, чистейший звон.

– Где же слабое место?

Шарлотта оценила его довод.

– Ах, для меня вопрос только в цене. Я, видите ли, бедна – очень бедна. Но все равно, спасибо, я подумала.

Князь за окном наконец обернулся и, словно проверяя, не ушла ли она, всматривался в полутемную внутренность лавки.

– Чаша мне нравится, – сказал Шарлотта. – Я хочу ее купить. Но нужно решить, сколько я могу потратить.

Торговец смирился с отказом не без любезности:

– Очень хорошо, я придержу ее для вас.

Четверть часа пролетела быстро и была отмечена некоей странностью. Шарлотта почувствовала это, едва свежий воздух и своеобразные картины улиц Блумсбери вновь завладели ею, словно противоборствуя скопившимся в ней впечатлениям. Но упомянутая странность могла показаться мелочью в сравнении с другим следствием этой интерлюдии, которое бросилось в глаза Шарлотте, не успели они еще далеко уйти от антикварной лавки. Следствие это состояло в том, что по какому-то молчаливому согласию, словно следуя некоей необъяснимой неизбежности, князь и Шарлотта совершенно оставили идею о дальнейших поисках. Ничего не было сказано, но больше они уже не искали подарка для Мегги, не упоминая о нем ни словом. Князь заговорил первым и совсем о другом.

– Надеюсь, вы в конце концов сообразили, в чем было дело с чашей.

– Совсем нет, я ничего не заметила. Вернее, заметила только одно: чем больше я на нее смотрела, тем больше она мне нравилась. Если бы не ваше упрямство, вот был бы чудесный случай вам порадовать меня, приняв чашу в подарок.

При этих словах князь взглянул на нее так серьезно, как не смотрел во все это утро.

– Вы серьезно предлагаете? Вы не разыгрываете меня?

Она удивилась:

– Какой тут может быть розыгрыш?

Князь посмотрел еще пристальнее:

– Неужели вы действительно так и не поняли?

– Чего не поняла?

– В чем изъян чаши, конечно. Вы столько времени смотрели и ничего не увидели?

Она только еще шире раскрыла глаза.

– А вы-то как увидели, с улицы?

– Я увидел еще прежде, чем вышел на улицу. Поэтому и ушел. Мне не хотелось устраивать еще одну сцену при этом проходимце. Я думал, вы и сами быстро догадаетесь.

– Разве он проходимец? – спросила Шарлотта. – Он спросил такую умеренную цену. – Она помолчала минуту. – Пять фунтов. Право, недорого.

Князь не сводил с нее глаз.

– Пять фунтов?

– Пять фунтов.

Возможно, князь не поверил, но, по-видимому, ее слова только подтвердили его мнение.

– За такой подарок и пяти шиллингов было бы много. Если бы даже чаша стоила вам всего пять пенсов, и то я не принял бы ее от вас.

– Так в чем же ее изъян? – спросила Шарлотта.

– Да ведь она с трещиной!

В его устах это прозвучало так резко и строго, что Шарлотта чуть не вздрогнула, залившись краской, как будто не сомневалась в его правоте, хотя откуда у него такая уверенность?

– Вы утверждаете, даже не посмотрев?

– Я смотрел. Я видел эту вещь. Она говорит сама за себя. Неудивительно, что стоит дешево.

– Но она такая красивая, – с волнением настаивала Шарлотта, словно от его слов чаша приобрела для нее особый интерес.

– Конечно, красивая. В этом и опасность.

Тут Шарлотту внезапно осенило, и князь предстал перед ней в новом и ярком свете. Отблеск этого света лег и на ее лицо, озарившееся улыбкой.

– Опасность... Понимаю! Оттого, что вы суеверны?

– Per Dio! Конечно, я суеверен! Трещина есть трещина – а дурной знак есть дурной знак.

– Так вы боитесь...

– Per bacco!

– За свое счастье?

– За свое счастье.

– За свою безопасность?

– За свою безопасность.

Она сделала крохотную паузу.

– За свой брак?

– За свой брак. За все вместе.

Шарлотта снова задумалась.

– В таком случае, слава богу, что мы знаем об этой трещине! Но если все может погибнуть из-за трещинки, о которой мы и не подозреваем... – И она опять улыбнулась печальной улыбкой. – Значит, нам больше нельзя ничего друг другу дарить.

Подумав, князь нашел ответ.

– О, но такие вещи всегда знаешь. По крайней мере, я знаю – инстинктивно. И никогда не ошибаюсь. Это защитит меня от всего.

Было довольно забавно, как он это произнес, но Шарлотте князь еще больше понравился благодаря таким замашкам. Она считала, что они прекрасно гармонируют с его образом вообще – а точнее, в частности. Но заговорила она с легкой досадой:

– А что же защитит меня?

– Я, во всем, что в моих силах. Во всяком случае, от меня вам ничего не грозит, – отвечал князь уже вполне добродушно. – Все, что вы только соблаговолите принять от меня... – Но он умолк.

– Да?

– Будет абсолютно безупречно.

– Это прекрасно, – не сразу ответила она. – Но к чему попусту говорить о том, чтобы я приняла что-то от вас, если вы не хотите ничего принять от меня?

О, на это у него нашелся ответ еще получше.

– Вы ставите невыполнимое условие. Я имею в виду – чтобы я сохранил ваш подарок в тайне.

Что ж, Шарлотта еще раз обдумала свое условие – и тут же, не сходя с места, отказалась от него, разочарованно тряхнув головой, – эта мысль была ей так приятна. Как все-таки все сложно!

– Ах, мое «условие»! Я за него не держусь. Можете кричать на всех углах обо всех моих поступках.

– О, ну тогда совсем другое дело, – рассмеялся он.

Но было уже поздно.

– Ах, все равно. Мне так понравилась чаша. Но раз уж она не годится, пусть ничего не будет.

Князь снова задумался, став еще серьезнее, чем прежде, но вскоре заметил:

– Однако придет день, когда мне хотелось бы сделать вам подарок.

Она озадаченно переспросила:

– Какой день?

– День, когда вы сами выйдете замуж. Ведь вы выйдете. Seriously, вы должны выйти замуж.

Она не стала спорить, но в ответ, словно нажали какую-то пружину, у нее вырвалось:

– Чтобы у вас стало легче на душе?

Удивительное дело – он ответил честно:

– Да, у меня станет легче на душе. Но вот и ваш кеб, – прибавил князь.

Он махнул рукой, экипаж стремительно подкатил. Шарлотта не подала руки на прощание, просто приготовилась сесть в наемную карету. Но сперва она произнесла слова, назревавшие во все время ожидания:

– Что ж, пожалуй, стоит выйти замуж ради того, чтобы можно было без помех получить что-нибудь от вас.

7

В то осеннее воскресенье в поместье «Фоунз» можно было наблюдать, как Адам Вервер рывком распахнул дверь бильярдной – точнее говоря, это можно было бы наблюдать, окажись поблизости хотя бы один зритель. Впрочем, мистер Вервер потому и растворил дверь с такой энергией и столь же энергично захлопнул ее вновь, что здесь можно было хоть ненадолго остаться одному, уединиться с пачкой писем, газет и прочей, еще не распечатанной, корреспонденцией, на которую он не удосужился бросить взгляд за завтраком, равно как и после оного. В просторном квадратном чисто убранном помещении было совершенно пусто, из больших светлых окон открывался вид на террасу, сад, на парк и леса за его пределами, на сверкающий пруд и темную линию горизонта, на синее вдали холмы и на деревушку с возвышающейся над нею колокольней в резкой тени облаков, и от всего этого, вместе взятого, в то недолгое время, пока остальные пребывали в церкви, у мистера Вервера возникало ощущение, как будто весь этот мир принадлежит только ему одному. И все же нам дано на краткий миг разделить с мистером Вервером обладание вселенной; самый факт его, как он сам бы выразился, побега к одиночеству, его бесшумной, чуть ли не на цыпочках, пробежки по запутанным коридорам, пробуждает наш интерес и заставляет нарушить уединение этого джентльмена, вторгаясь к нему с непрошеным вниманием – вниманием доброжелательным и даже сочувственным. Ибо, заметим здесь же, этот добрейшей души человек, как правило, позволял себе задуматься о собственных удобствах лишь после того, как посвятит достаточно усилий заботе об удобствах других людей. Можно также упомянуть о том, что категория «других людей» в представлении мистера Вервера являлась весьма многочисленной – такая уж была натура у этого человека, и хотя в его жизни существовала всего одна-единственная прочная привязанность, одно истинно глубокое чувство, один основополагающий долг, чрезвычайно редко случалось, чтобы в течение сколько-нибудь значительного промежутка времени он не ощущал своих обязательств по отношению к окружающим; никак не удавалось ему достигнуть мысленным взором того предела, где заканчивается многоцветная масса страждущего человечества, пестреющая концентрическими кругами разнообразных оттенков, в зависимости от интенсивности и настоятельности требований того или иного лица, никак не получалось разглядеть границу, за которой простирается блаженная белизна. Признаться, временами краски теряли для него свою яркость, но до сих пор ему еще ни разу не удавалось уловить точку, далее которой оттенки положительно отсутствуют.

Потому и образовалась у мистера Вервера эта маленькая привычка, его самый заветный секрет, которого он не доверил даже Мегги, хотя и чувствовал, что она его понимает (по его глубокому убеждению, Мегги понимала решительно все), потому-то и выработалась невинная уловка: притворяться иногда, будто нет у него никакой совести, или, по крайней мере, будто он на какое-то время сделался совершенно нечувствителен к велениям долга. Очень немногие из окружающих были достаточно близки к мистеру Верверу, чтобы застичь его за этой игрой – в их число входила, к примеру, миссис Ассингем, – и они воспринимали этот маленький каприз с тем снисхождением к человеческим причудам, а сказать по правде – с тем умилением, какое вызывает взрослый человек, бережно хранящий какую-нибудь детскую игрушку. Позволяя себе изредка небольшую «передышку», он сопровождал подобный поступок трогательным виноватым взглядом, каким смотрит сорокасемилетний мужчина, застигнутый с подобным сувениром детских лет в руках, за попыткой приделать голову сломанному оловянному солдатику или проверить, исправен ли затвор деревянного ружья. В сущности, это служило ему своеобразной имитацией порока, в коей он время от времени практиковался, очень может быть, просто-напросто для забавы. Впрочем, несмотря на постоянную практику, мистер Вервер так и не смог окончательно закоснеть в грехе, ибо эти наивно-коварные интерлюдии неизменно

оказывались чрезвычайно краткими. Сам же и виноват – своими руками запечатлел на себе клеймо человека, которого в любую минуту можно отвлекать абсолютно безнаказанно. В том и состояло главное чудо, что человек, которого, пользуясь расхожим оборотом речи, постоянно отвлекают, столько сумел достичь в своей жизни, да притом еще так быстро. Очевидно, был у него некий особый дар. Где-то в самой глубине его бесхитростной души мерцала огненная искра, подобно тому, как сияет светильник перед алтарем в сумрачной перспективе собора; не угаснув в пору молодости и ранней зрелости под шквалами суровых американских ветров, примера и возможности, светильник озарял разум мистера Вервера, превратив это стройное здание в удивительную мастерскую удачи. Из окон этого загадочного, почти анонимного заведения даже в минуты наивысшего накала не лился свет, заметный глазу праздных зевак; на самом же деле, надо думать, в иные годы его незримые горнила раскалялись добела, но тайну этого процесса сам владелец кузницы не мог бы никому объяснить, даже если бы и хотел.

Могучая пульсация пламени, особое действие умственного жара, доведенного до высшей точки и в то же самое время каким-то непостижимым образом удерживаемого в строго определенных границах, – в самих этих вещах заключалась огромность явления; они составляли единое целое с механизмом, отлаженным до невообразимого совершенства, они порождали ту невиданную мощь приобретательства, которая, будучи запущена в действие, приводила любую операцию к неизменному успеху. Как бы там ни было, придется нам пока удовлетвориться этим, довольно невнятным, объяснением яркого жизненного феномена; очевидно, было бы неразумно объяснять экономические достижения нашего друга одной лишь приятностью его душевного склада. Разумеется, приятный характер всегда способствует успеху и часто даже служит основой значительных накоплений, но разум все же тщится восстановить фатально отсутствующие связующие звенья между столь несомненной последовательностью, чтобы не сказать хуже, в одной области, и безмерной рассеянностью в любой другой сфере деятельности. Богатое воображение – разве может оно не быть губительным в мире деловых людей, если только не вымуштровано до такой степени, чтобы ничем не отличаться от полного однообразия? Стало быть, мистер Вервер в течение определенного периода, когда, как это ни удивительно, ни единого года не было потрачено зря, скрывал незримое однообразие в глубине мерцающего облака, переливающегося всеми цветами радуги. Облако служило ему естественной оболочкой – так сказать, просторным одеянием, сотканным из характера и общего тона этого человека. Сей покров не сказать чтобы окутывал своего владельца чрезмерно пышными складками, однако же прощупывался абсолютно безошибочно. Словом, мистер Вервер и по сию пору принужден был симулировать цинизм, дабы обеспечить несколько редких мгновений наедине с собой. Впрочем, на самом деле он был не способен притворяться сколько-нибудь долгое время и никогда, пожалуй, не проявлял своего неумения столь ярко, как сегодня, смирившись перед неизбежным – а именно перед вторжением по истечении не более четверти часа того самого элемента своих обязанностей по отношению к человечеству, от которого – и это он прекрасно сознавал – никуда не денешься. Четверть часа – ровно столько, и ни минутой более, удавалось ему побыть эгоистом при обычных обстоятельствах. Миссис Рэнс отворила дверь бильярдной не так решительно, как только что совершил это сам мистер Вервер, – зато при виде его она оживилась значительно больше, чем случилось с ним самим при виде пустого коридора. Тут-то он вспомнил, что неделю назад имел неосторожность установить прецедент, позволивший возникнуть подобной ситуации. В этом он должен был отдать справедливость миссис Рэнс, как поступал постоянно по отношению к тому или другому из своих ближних. В прошлое воскресенье он остался дома и не пошел в церковь, дав тем самым возможность любому желающему застичь себя врасплох. Самая простая штука на свете – для этого миссис Рэнс достаточно было всего-навсего самой остаться дома. Мистеру Верверу и в голову не пришло прибегнуть к каким-либо ухищрениям, чтобы обеспечить ее отсутствие – ведь тогда было бы некрасиво самому остаться дома. Если люди, проживающие под его кровом, не вправе

уклониться от посещения церкви, откуда же, по справедливости, возьмется подобное право у него самого? Коварство мистера Вервера не заходило далее простейшей уловки – перебраться из библиотеки в бильярдную, поскольку именно в библиотеке застала его в прошлый раз и, что вполне естественно, почтила своим обществом его гостя – или гостя дочери, или гостя барышень Латч, он и сам не знал точно, кем ее следует считать. Вспоминая теперь предыдущий, так сказать, визит миссис Рэнс, весьма продолжительный, мистер Вервер невольно склонился к мысли, что закон повторяемости событий уже в достаточной мере воплотился в жизнь.

В тот раз она провела с ним все утро и все еще находилась в библиотеке, когда возвратились из церкви остальные. Она весьма прохладно отнеслась к предложению мистера Вервера прогуляться по саду, словно усмотрев в этом некий зловерный умысел, чуть ли не какое-то вероломство. Но что же такое было у нее на уме, в какой роли желала она его увидеть, помимо уже навязанной ему роли терпеливого, неизменно заботливого хозяина, ни на минуту не забывающего, что гостя прибыла к ним как лицо почти постороннее, не слишком желанное и не слишком-то усердно званное, – а значит, следует особенно печься о том, как бы не задеть как-нибудь ненароком ее чувства! Барышни Латч, сестрицы со Среднего Запада, явились погостить, будучи старинными приятельницами Мегги, а уж миссис Рэнс находилась здесь, по крайней мере поначалу, всего лишь как приятельница сестер Латч.

Эта дама постоянно подчеркивала, что сама она родом не со Среднего Запада, а из маленького, уютного штата – Нью-Джерси, Род-Айленда, а может Делавэра, мистер Вервер толком уже не помнил, откуда именно, несмотря на все ее настойчивые упоминания об этом. Отдадим должное мистеру Верверу: не в его характере было задумываться о том, не воспоследует ли далее появление в их компании какой-нибудь приятельницы миссис Рэнс; отчасти причиной тому было сложившееся у него впечатление, что миссис Рэнс скорее стремится удалиться отсюда обеих мисс Латч, нежели прибавить еще новых гостей к собравшемуся обществу, отчасти же, и даже в большей степени, то, что подобный иронический вопрос скорее мог прийти в голову окружающим, нежели самому мистеру Верверу. Так уж он был устроен от природы: люди, причинявшие ему те или иные неудобства, не порождали в нем враждебного чувства. Впрочем, он вообще чрезвычайно редко испытывал подобные чувства по отношению к кому бы то ни было, что, несомненно, объясняется тем, сколь мало было в его жизни вышеупомянутых неудобств. Случись мистеру Верверу задуматься об этом, он бы признал, что самым большим неудобством была для него склонность окружающих полагать само собой разумеющимся, будто, владея деньгами, он в то же самое время владеет и неограниченными возможностями. Его теснили со всех сторон предположениями о присущем ему могуществе. Всякому хочется приобщиться к власти, вот и получается, что могущество следует по возможности скрывать. Но подобное утаивание, да еще в целях низкой самообороны, несомненно, могло серьезно дискредитировать все его жизненные побуждения, а между тем репутация некоего всемогущего существа, хотя и сильно осложняет жизнь, все же не настолько, чтобы служить предметом жалоб для мужественного человека. Притом жалобы – предмет роскоши, а стало быть, они могут повлечь за собой обвинение в жадности, которого мистер Вервер страшился пуще всего на свете. Другое обвинение, постоянно преследовавшее его, – будто он способен на какие-то невероятные свершения, – не имело бы под собой решительно никаких оснований, если бы он сам не проявил в свое время явную и доказуемую склонность к роскоши. Так или иначе, уста его были замкнуты при помощи некоей пружины, соединенной вдобавок еще и с глазами мистера Вервера. Эти последние показывали все то, что ему удалось «совершить», показывали также, где он в результате оказался: на самой вершине горы всевозможных трудностей, горы высокой, крутой и спиралевидной. Начав взбираться на эту гору в двадцатилетнем возрасте, мистер Вервер добрался до венчающей ее платформы, откуда можно смотреть, если угодно, сверху вниз на царства земные и где способны поместиться не более полудюжины человек со всего мира.

Между тем в описываемую минуту мистер Вервер созерцал не царства земные, а приближение миссис Рэнс, причем у него и мысли не мелькнуло приписать ее появление низменному чувству алчности – да что там, ему бы даже не пришло в голову усмехнуться, видя ее очевидную целеустремленность. По-настоящему бесподобно было бы, случись ей вообразить, будто он скрылся из библиотеки со специальной целью сбить ее со следа – собственно говоря, еще совсем немного, и это было бы не так уж далеко от истины. Мистер Вервер с трудом нашел в себе силы не поддаться смущению, невзирая на свой богатый жизненный опыт; несколько легче было загладить свой поступок. Если на то пошло, бильярдная – отнюдь не такое уж естественное, равно как и не такое уж изысканное место пребывания для номинального главы большого поместья, даже безотносительно к тому, что гостья, вопреки его опасениям, совершенно не собиралась устраивать по этому поводу сцену. Вздумай она открыто упрекнуть его, мистер Вервер тут же на месте просто распался бы на части, но ему хватило минуты, чтобы сообразить, что этого можно не бояться. Быть может, она предпочла ради придания особого смысла этой встрече принять как должное или даже каким-то образом обыграть причуду мистера Вервера? Придать ей, к примеру, романтический или даже комический оттенок? Во всяком случае, миссис Рэнс решила держать себя как ни в чем не бывало, пусть даже между ними простирается, подобно пескам пустыни, необъятный бильярдный стол, затянутый суровым полотном. Она не могла пересечь пустыню, зато прекрасно могла обойти ее кругом. Так она и сделала. Пожелай мистер Вервер по-прежнему использовать этот предмет обстановки в качестве оборонительного сооружения, ему пришлось бы бегать вокруг стола, увертываясь от преследования, словно затеяв какую-то детскую игру в припадке абсолютно неподобающей резвости. Разумеется, подобного оборота событий допускать ни в коем случае не следовало. На какое-то мгновение мистеру Верверу померещилось, что гостья сейчас предложит ему покатать бильярдные шары. Уж с этой угрозой он как-нибудь да справится. А почему, собственно, он помышляет об обороне, в материальном или в каком-либо ином плане? Откуда эти мысли о грозящих ему опасностях? Единственная реальная опасность, способная заставить его похолодеть, заключается в возможности брачных поползновений со стороны гостьи. К счастью, она не властна затронуть эту пугающую тему, ибо у нее уже имеется муж, что при необходимости можно доказать без особого труда.

Правда, муж имеется всего лишь в Америке, в Техасе, в Небраске, Аризоне или где-то там еще, в туманной дали, которая здесь, в старинном поместье «Фоунз» в графстве Кент, представляется практически нереальной – так, невнятное и неопределенное нечто, затерянное в великой безводной пустыне дешевых разводов. Она относилась к бедняге как к своему батраку, презренному холопу, почти и не вспоминала о нем, но его существование как таковое не подвергалось сомнению. Барышни Латч имели когда-то случай видеть его во плоти, о чем и не преминули исправно сообщить при первой возможности; впрочем, допрошенные по отдельности, дали противоречивые описания его наружности. Но, если уж на то пошло, это были трудности исключительно самой миссис Рэнс, для прочих же ее пребывающий в отдалении супруг мог служить самой что ни на есть надежной опорой. И все же подобная безупречная логика не приносила мистеру Верверу того успокоения, какого можно было ожидать. Его страшила не только угроза, но и сама идея угрозы – иными словами, он страшился самого себя. Миссис Рэнс воздвиглась перед ним прежде всего как символ – символ того невысказанного подвига, который ему рано или поздно предстоит совершить, а именно – сказать «нет». Мистер Вервер жил в постоянном ужасе перед такой перспективой. Настанет миг, когда ему будет сделано брачное предложение, – это всего лишь вопрос времени, – и тогда ему придется сделать то, что делать чрезвычайно неприятно. Иногда он почти готов был надеяться, что ответит иначе. Но он слишком хорошо себя знал, чтобы обманываться: с холодной и безрадостной уверенностью мистер Вервер сознавал, где именно в критическую минуту он проведет черту. Все эти перемены в его жизни произошли после замужества Мегги, сделавшего ее еще более счастливой – хотя,

по мнению мистера Вервера, она и раньше была вполне счастлива. Прежде ему как будто не приходилось сталкиваться с подобными трудностями. Они попросту не возникали на его пути, причем, похоже, именно стараниями Мегги. Она была всего лишь его дочерью – оставалась ею в полной мере и поныне, но в каких-то отношениях она защищала его, словно была чем-то большим. Он и сам не знал, как много она для него делала, хотя знал о многом и восхищался от души. Теперь она делала для него еще больше, считая, что должна как-то возместить ему перемену в его жизни, но и ситуация изменилась, требуя именно таких добавочных усилий.

Поначалу все это было не так заметно. Проведя двенадцать месяцев в Америке, Мегги с князем вновь поселились в Англии, хотя и в виде пробы, но у мистера Вервера появилось ощущение, что домашняя атмосфера посветлела и очистилась, словно раздвинулись горизонты и вокруг открылись какие-то огромные перспективы. Как будто одно присутствие зятя, еще прежде, чем он сделался зятем, каким-то образом заполнило собой пейзаж, отгораживая будущее – впрочем, очень красиво и изысканно, ни в коей мере не причиняя неудобств; вот и теперь, при более близком знакомстве, он во многом оставался «главным фактором»: небо сделалось шире, даль – необъятней, передний план раздался в стороны, дабы соответствовать его масштабам. Конечно, поначалу скромная старомодная семья, состоявшая из Мегги и мистера Вервера, сильно напоминала уютную маленькую площадь в центре старинного города, куда ни с того ни с сего вдвинулся, скажем, величественный храм работы Палладио²⁰ – строение с обширным фасадом, изобилующим архитектурными излишествами, – и рядом с ним все окружающее пространство временно уменьшилось в размерах: и свободный промежуток перед постройкой, и проходы по бокам, сзади, с востока, со стороны улицы... Да и то, по правде говоря, совершилось в высшей степени чинно и благопристойно, ведь глаз знатока или просто человека понимающего всегда оценит по достоинству высокий стиль фасада и присущее ему несомненное качество. Трудно сказать, возможно ли было предсказать заранее то, что произошло потом, – во всяком случае, чудо свершилось не в одночасье, а очень медленно, постепенно, так легко и незаметно, что отсюда, из обширного поместья «Фонз», окруженного лесами, с домом, где было, по слухам, чуть ли не восемьдесят комнат, с громадным парком, с раскинувшимся на многие акры садом и с великолепным искусственным озером – хотя оно-то как раз, пожалуй, казалось немного смешным человеку, привыкшему к Великим озерам, – словом, с этого наблюдательного пункта было совершенно невозможно разглядеть, как же осуществилась перемена. Грандиозный храм по-прежнему возвышался все на том же месте, однако площадь сумела приспособиться к его присутствию. Солнце освещало ее в полную силу, ветерок овеивал ее без помех, ничто не мешало проходу многочисленной публики, вид с восточной стороны был в своем роде ничуть не хуже, чем с западной, а посередине расположился боковой вход, тоже по-своему монументальный и декоративный, как оно и полагается во всех порядочных церквях. Нечто подобное получилось и у князя в его отношениях с тестем – оставаясь существенным элементом пейзажа, он совершенно перестал заслонять окружающую перспективу.

Мистер Вервер, заметим далее, не успел достаточно встревожиться, чтобы осознать в подробностях свою нынешнюю успокоенность; тем не менее он был вполне способен в доверительном разговоре поделиться с подходящим собеседником своими соображениями по поводу данного процесса.

Кстати, подходящий собеседник не замедлил явиться в лице Фанни Ассингем. Она не впервые удостоилась откровенности мистера Вервера и на этот раз, несомненно, выслушала его с неослабным вниманием и со всеми возможными гарантиями сохранения тайны. Так вот, суть дела сводилась к одному-единственному основополагающему факту, а именно: князь, по милости благосклонной судьбы, оказался абсолютно лишен всякой угловатости. Мистер Вервер употреблял именно это слово, говоря о муже своей дочери. Он вообще часто употреблял

²⁰ Итальянский архитектор XVI в.

подобные обороты при обсуждении человеческих и общественных взаимоотношений, словно выдуманные им определения озаряли мир каким-то особым светом или, по крайней мере, освещали ему путь, хотя частенько их смысл оставался для собеседника довольно неясным. Правда, в разговоре с миссис Ассингем мистер Вервер никогда не мог быть ни в чем уверен в отношении смысла: она почти никогда с ним не спорила, соглашаясь с ним практически во всем, окружала его такой планомерной и целенаправленной заботой, – можно подумать, сказал он ей однажды в сердцах, будто она нянчит больного ребенка.

Он упрекнул ее в том, что она не принимает его всерьез, а она ответила, – словно в ее устах такое заявление не могло его испугать, – что относится к нему с религиозным обожанием. И снова засмеялась, как смеялась раньше, когда он так удачно определил одним словом счастливый исход своих взаимоотношений с князем, – возможно, ее смех прозвучал особенно странно оттого, что она ничуть не подвергала сомнению уместность этого слова в данном контексте. Впрочем, ее восторг по поводу такого открытия не мог, разумеется, сравниться с восторгом самого мистера Вервера.

Он так радовался, что едва удерживался, чтобы не прочесть публично мораль на тему: что могло бы случиться, возникни между ними хоть малейшее трение. Однажды он весьма откровенно заговорил об этом с самим объектом своих умозаключений, а именно с князем, не скрыв, как высоко ценит эту его специфическую особенность, и даже позволил себе упомянуть, какой опасности они избежали благодаря тому, что у них так замечательно сложились отношения. Окажись князь угловатым – ах, кто знает, что могло бы случиться тогда? Мистер Вервер изрекал это с таким видом, – так же, как и в разговоре с миссис Ассингем, – будто совершенно точно представлял себе, что подразумевается под определением «угловатый».

Для него это понятие, очевидно, представлялось абсолютно четким и ясным. Возможно, это слово воплощало собой для мистера Вервера острые углы и жесткие грани, всю каменную колючесть, строгую и величественную геометричность того самого палладиевского храма. Во всяком случае, он до последней черточки ценил и ощущал, какое это блаженство – соприкосновение с другой человеческой личностью, которая чудесным образом подставляет для соприкосновения лишь самые податливые очертания и округлые контуры. «Ты совершенно круглый, мой мальчик, – говорил ему мистер Вервер, – целиком и полностью, во всех отношениях, разнообразно и неисчерпаемо круглый, а ведь мог бы оказаться отвратительно квадратным. Если уж на то пошло, я вполне допускаю, – прибавлял тут мистер Вервер, – что в основе своей ты и есть квадратный – уж не знаю, отвратительно или нет. Твоя квадратность не вызывает отращения, потому что во всех деталях ты кругл до безобразия, вот что я хочу тебе сказать. Это чувствуется прямо-таки на ощупь – по крайней мере, я так чувствую. Допустим, был бы ты весь из таких мелких фасеток пирамидальной формы, вроде как стены того замечательного Дворца дождей в Венеции, – это совершенно прелестно в архитектуре, но страшно неудобно в человеке, с которым приходится тесно общаться, особенно в близком родственнике. Так и вижу эти выступающие ромбики алмазного гранения, они способны оцарапать до крови нежные стороны человеческой души. Оцарапаться об алмазы, конечно, лучше, чем о что-нибудь другое, но ведь при этом человек, примерно говоря, превращается в котлету. А ты, друг мой, – чистейший хрусталь идеальной формы для совместной жизни. Я тебе говорю начистоту, так, как мне это представляется, – думаю, ты уловил мою мысль». И князь действительно уловил – к этому времени он уже привык ловить на лету все, что само идет в руки. Пожалуй, ничто так не подтверждало представление мистера Вервера об обтекаемом характере его зятя, как та легкость, с которой скользили по его поверхности тяжелые золотые капли задушевных излияний тестя. Они не застревали в трещинах, не скапливались в углублениях, лишь на миг окрашивали сияющими отблесками его идеальную гладкость. Иными словами, молодой человек улыбался без тени смущения, хотя, похоже, не вполне понимая, с чем именно соглашается,

отчасти из принципа, отчасти в силу привычки. Ему было приятно видеть, что все обстоит просто замечательно, а почему это так – дело десятое.

Со времени женитьбы князя окружали люди, постоянно стремившиеся все объяснять и приводить всевозможные резоны, – никогда в жизни не приходилось ему выслушивать столько объяснений. Вообще говоря, этим он главным образом и отличался от них, а ведь жена и тесть были, в конце концов, всего лишь первыми из тех людей, среди кого ему отныне приходилось жить. Он до сих пор никогда не знал заранее, как подействует на них его поведение в той или иной ситуации. Очень часто они замечательным образом придавали его словам смысл, какого он вовсе не имел в виду, и столь же часто, не менее замечательным образом, абсолютно не улавливали того, что он как раз имел в виду. Он объяснял это для себя, как и раньше, общими словами: «У нас с ними разные ценности». Под этим князь понимал разную меру значения, придаваемого вещам. По-видимому, его «округлость» имеет значение, поскольку они ее не ожидали, а вернее, не помышляли о ней; между тем в его прежнем, оставшемся далеко позади мире округлость предполагалась чем-то само собой разумеющимся, причем в значительно больших масштабах, так что легкость в общении совершенно никого не удивляла: не удивляются же люди, что им с легкостью удастся подняться на второй этаж дома, где имеется лестница. В тот раз князь довольно ловко выкрутился, отвечая на восхищенные речи мистера Вервера. Можно даже предположить, что сравнение, придуманное тестем, пробудило в нем одно особенное воспоминание – оттого он так легко и быстро нашелся с ответом. «О, если уж я – хрусталь, приятно слышать, что идеальный. Насколько я знаю, в хрустале часто встречаются изъяны – разные сколы и трещины, и в этом случае он очень недорого стоит!» Он удержался от того, чтобы придать своей шутке чересчур многозначительный оттенок, прибавив, что уж он-то, во всяком случае, обошелся им недешево. Мистер Вервер, со своей стороны, также не воспользовался представившейся возможностью, что, несомненно, свидетельствует о хорошем вкусе, царившем в их отношениях. Нас же в эту минуту больше всего интересует именно отношение мистера Вервера к подобным нюансам, а также тот факт, что он выразил свое удовольствие по случаю отсутствия трения, уподобив характер Америго драгоценному произведению искусства. Драгоценные произведения искусства, великие полотна древних живописцев, выдающиеся «изделия» из золота, серебра, эмали, майолики, слоновой кости и бронзы так давно копились и множились вокруг мистера Вервера и так безраздельно занимали его мысли, служа предметом восхищения и приобретения, что и в отношении князя он невольно опирался на свой художественный инстинкт, специфический ненасытный аппетит коллекционера.

Если оставить в стороне впечатление, какое произвел на саму Мегги искатель ее руки, мистер Вервер видел в нем все несомненные отличительные признаки первоклассного произведения искусства, подлинность которого не подлежит сомнению. Уж в таких-то вещах Адам Вервер к тому времени разбирался, как никто; в глубине души он был абсолютно убежден, что ни один человек в Европе и Америке не застрахован так надежно, как он, от грубых ошибок по этой части. Он никогда вслух не претендовал на непогрешимость, это было не в его характере; но, помимо естественных привязанностей, не было в его жизни большей радости, чем внезапное открытие в самом себе несомненных задатков тонкого ценителя. Его, как и многих других, в свое время поразил до глубины души сонет Китса о переживаниях мужественного Кортеса на берегу Тихого океана, но, может быть, никто другой из читателей не воплотил настолько скрупулезно в жизнь великолепный поэтический образ. Этот образ так соответствовал состоянию духа мистера Вервера, когда перед ним распахнулся его собственный Тихий океан! Достаточно оказалось раза два перечитать бессмертные строки, чтобы они навеки запечатлелись в его памяти. Его «снежной вершиной»²¹ стал тот неожиданный час, преобразивший всю его жизнь,

²¹ Так счастлив Кортес был, чей взор орлиный Однажды различил над гладью вод Безмолвных Андов снежные вершины. «После первого чтения чапменовского „Гомера“». Перевод В. Миклушевича.

когда он с внутренним безмолвным вздохом, напоминающим тихий стон испуганной страсти, вдруг увидел перед собою целый мир и понял, что может завоевать этот мир, стоит только попытаться. Словно в книге жизни открылась новая страница – как будто одно легкое прикосновение перевернуло лист, доселе не шелохнувшийся, и от этого движения в лицо повеяло дыханием Золотых островов. С той минуты поиски сокровищ Золотых островов заполнили все его будущее, и что удивительнее всего – мысли об этом были даже слаще самого действия. Эти мысли роднили понятие Гения – или, по крайней мере, Вкуса – с чем-то в нем самом, с некой до сих пор дремавшей способностью восприятия, открывшейся ему теперь с такой неожиданной силой, словно сдвинув весь его интеллектуальный горизонт простым поворотом винта. Внезапно он оказался равен великим людям прошлых времен, создателям и ценителям прекрасного. И ведь не сказать, чтобы он обретался настолько уж ниже великих мастеров. Прежде в нем ничего подобного не замечалось – не замечалось категорически, прямо-таки пугающе; теперь же он наконец понял, чего ему не хватало даже при самом грандиозном успехе; за одну потрясающую ночь его жизненный путь обрел долгожданный смысл.

Озарение пришло к мистеру Верверу во время его первой поездки в Европу после смерти жены, когда дочери исполнилось десять лет, и он даже сумел проанализировать, почему в прошлое путешествие, в первый год после свадьбы, светоч остался скрыт от него. В тот раз он тоже «покупал», по мере возможности, но покупал, в основном, ради хрупкого взволнованного существа рядом с собой. У нее, конечно, были свои предпочтения, но они касались исключительно искусства с Рю де ля Пэ, в те времена изумлявшего их обоих, – а именно дорогостоящих изделий портных и ювелиров. Она трепетала от восторга – бледный озадаченный призрак, на самом-то деле белый надломленный цветок, перехваченный, чуточку гротескно в свете его нового видения, пышным атласным «бантом» парижских бульваров, – но восторги ее посвящались преимущественно лентам, оборкам и изысканным тканям, этим трогательным свидетельствам растерянности новобрачных, ошеломленных разнообразием открывшихся перед ними возможностей.

Мистер Вервер до сих пор вздрагивал, вспоминая, как бедняжка, им же поощряемая, бросалась очертя голову в бездну покупок и любопытства. Эти блуждающие образы отодвигали ее в какую-то сумеречную даль, а ему не хотелось настолько отдаляться от их общего прошлого, от той юношеской любви. К тому же при внимательном рассмотрении приходилось признать, что матушка Мегги, как ни странно, страдала не столько от недостатка художественного чувства, сколько от неумения приложить его как должно, применяя его беспорядочно и азартно, пользуясь им как оправданием невинных излишеств, любые укоры в отношении коих философическое время в конце концов неизбежно должно было смягчить. Они так любили друг друга, что мистер Вервер расплачивался за это временным отказом от высшего разума. Сколь убоги, сколь гнусны, сколь нечестивы были эти хитроумные украшения, казавшиеся ему до прихода озарения такими очаровательными! Этот тихоня, склонный к размышлениям и копанию в прошлом, приверженец безмолвных радостей, а равно и легкая добыча безмолвных страданий, иногда задумывался даже: что стало бы с его интеллектом в той специфической области, которой он с течением времени все больше посвящал себя, если бы странная прихоть судьбы не устранила влияние жены из его жизни? Неужели, увлеченный любовью, он последовал бы за нею в бесплодную пустыню заблуждений? Помешала бы она ему покорить свою головокружительную вершину или же сама поднялась вслед за ним в эти горные выси, где он мог бы поделиться с ней своим открытием, как Кортес со своими товарищами? Насколько можно судить, среди спутников Кортеса не было ни одной настоящей леди; исходя из этого исторического факта, мистер Вервер и выводил свое заключение.

8

Во всяком случае, одна истина, касающаяся тех непросвещенных лет и притом куда менее огорчительная, не ускользнула от него. Опять-таки удивительная причуда судьбы: годы невежества были, оказывается, необходимы для того, чтобы стали возможными годы озарения. Он и сам поначалу не сознавал, насколько мудрая рука направляла его в сторону приобретательства определенного рода в качестве идеальной прелюдии к приобретательству совершенно другого характера, и прелюдия эта была бы слабой и неполноценной, будь он при этом менее искренен. Относительная слепота придавала ему искренность, а последняя, в свою очередь, создала плодородную почву, на которой и расцвела высшая идея. Нужно было, чтобы он полюбил тяжкий труд в кузнице, полюбил копить и полировать оружие и доспехи.

По крайней мере, ему необходимо было верить, что он все это любит, точно так же, как он верил, что ему нравятся трансцендентное исчисление и игра на бирже, создание «интересов», удушающих чьи-то еще интересы, оголтелая вульгарность – первым куда-то добежать (или откуда-то выбежать). На самом деле, конечно, все было совсем не так. Все это время высшая идея росла и зрела там, в глубине, в теплой жирной почве. А он и не знал, что стоит, ходит и работает на том самом месте, где она зарыта, и сама по себе его удача в делах так и осталась бы голым, безжизненным фактом, не пробейся к свету дня первый нежный, острый росток. И вот, с одной стороны – уродство, миновавшее середину его жизни, с другой, по всему, – красота, которая еще может увенчать ее закат. Несомненно, он не заслужил такого счастья, но когда человек счастлив, нетрудно потерять меру. Пусть сложным, запутанным путем, но все-таки он отыскал свое место, а уж с тех пор, как занял его... бывает ли на свете путь прямее? Его проект снискал одобрение всего цивилизованного мира; мало того – сам этот проект и есть цивилизация в самой конкретной, конструктивной, концентрированной форме. Мистер Вервер собственными руками воздвиг его, словно здание, построенное на скале, и из распахнутых дверей и окон этого здания будет сиять для истомленных духовной жаждой миллионов высшее, высочайшее знание, озаряя все вокруг. В этом доме, задуманном поначалу как подарок жителям его родного штата и города, ставшего ему родным (он, как никто, мог измерить и оценить, насколько остро нуждаются они в освобождении из тенет уродливого), в этом музее из музеев, в этом дворце искусств, предназначенном стать компактным, по образу и подобию древнегреческого храма, вместилищем сокровищ, по тщательности отбора равных святыне, – там ныне обитал его дух, наверстывал упущенное время, как выразился бы сам мистер Вервер, и маячил под колоннами портика в приятном ожидании финального ритуала.

Предстояла «церемония открытия» – августейшее освящение музея. Мистер Вервер отлично сознавал, что его воображение, преодолевая пространство, опережает разум: оставалось еще многое сделать, прежде чем поразить публику первым эффектным мероприятием. Уже заложен фундамент, поднимаются стены, однако столь возвышенное начинание требует не грубой спешки, но самого терпеливого и почтительного отношения. Мистер Вервер изменил бы самому себе, если бы при воплощении своего замысла обошелся без маленького хотя бы промедления, придающего должное величие памятнику исповедуемой им религии, его всепоглощающей страсти – стремлению к совершенству любой ценой. Он пока еще ведать не ведал, чем все этого кончится, зато был замечательно уверен в том, с чего он ни в коем случае не намерен начинать. Он не намерен начинать по-мелкому – он начнет с размахом; а черту, отделяющую одно от другого, он едва ли мог определить словами, даже если бы захотел. В тщеславии своем подражая улитке, он не потрудился отметить комический элемент выпускавшихся типографским способом обращений, каковые ежедневно «набирались», отпечатывались крупным шрифтом и рассылались гражданам, поставщикам и потребителям, проживающим в этом и сопредельных штатах. Если продолжить наше ироническое сравнение, улитка сделалась для

мистера Вервера привлекательнейшим представителем животного мира, с чем и было отчасти связано его возвращение в Англию, которое мы сейчас имеем удовольствие наблюдать. Тем самым мистер Вервер подчеркнул именно то, что ему хотелось подчеркнуть: в данном вопросе он ни у кого не собирается спрашивать совета. Провести еще пару лет в Европе, в непосредственной близости от событий и возможностей, освежить свои представления о тенденциях на рынке искусства – это отвечало соображениям высокой мудрости, того особого рода просвещенной убежденности, которой он стремился придерживаться. На поверхностный взгляд дело не стоило того, чтобы задерживать целую семью – ведь после рождения внука у них получилась уже настоящая семья; а потому мистер Вервер перестал отныне полагаться на внешнюю видимость, за исключением только одной-единственной области. Его заботило, чтобы произведение искусства было «похоже с виду» на работы мастера, которому его приписывают (может быть, с целью обмана), но в остальном он, вообще говоря, перестал судить о жизни по ее внешним качествам.

Жизнь в целом он воспринимал теперь с иной точки зрения: не как коллекционер, а, скорее, как дедушка. Из всех бесценных миниатюрных произведений искусства, какие приходилось ему держать в руках, ни одно не могло сравниться с Принчипино²², первенцем его дочери. Итальянское наименование ребенка представлялось мистери Верверу бесконечно забавным. Его можно было укачивать, тормошить, чуть ли уже не подбрасывать в воздух, что, разумеется, совершенно недопустимо в обращении с подобными ему по своей уникальности ранними изделиями в технике *r te tendre*²³. Можно было забрать крошечного, отчаянно цепляющегося малыша из рук няньки, многократно отражаясь в стеклянных дверцах высоких шкафов, неодобрительно взирающих на такое осквернение своего утонченного содержимого. Была в этих новых отношениях какая-то благодать, несомненно, еще укрепившая представления мистера Вервера о том, что самым прямым и закономерным безмолвным ответом общественному осуждению стало особое мироощущение – ни больше ни меньше, так он говорил, – обретенное им за эти безмятежные недели в «Фонз». Особое мироощущение – вот и все, что ему требовалось от этих недель, и он это получил даже сверх ожиданий, несмотря на миссис Рэнс и барышень Латч, несмотря на слегка тревожащую мысль, что Фанни Ассингем в своих отношениях с ним чего-то недоговаривает, несмотря на полное, словно переливающаяся через край чаша вина, осознание того, что, коль скоро он дал согласие на брак дочери, изменив тем самым свою жизнь, так все окружающее и есть олицетворенное согласие, брак в действии, короче говоря – воплощение пережившейся жизни. Можно было припомнить свое собственное ощущение женатого состояния – все это еще не так прочно ушло в прошлое, чтобы стать недостижимым даже для неясных воспоминаний. Он полагал, что они с женой – и прежде всего она – были женаты настолько, насколько это вообще возможно, не хуже других, и все-таки сомневался, заслуживал ли их союз этого названия, была ли в нем та красота, какой одарена пара, находящаяся ныне перед его глазами. В особенности после рождения у них мальчика в Нью-Йорке – кульминации их недавней поездки в Америку, завершившейся столь удачно, – мистер Вервер был уверен, что счастливая чета обогнала их, уносясь в такие дали, в такие выси, куда его воображение, во всяком случае, отказывалось следовать за ними. Примечательна одна особенность характерного для мистера Вервера немого восторга, характерного, прежде всего, для его скромности, – пробудившееся по прошествии стольких лет странное и смутное подозрение: а была ли мать Мегги, в конце концов, способна на максимум? Мистер Вервер имел в виду максимум нежности, как он понимал эти слова: максимальное погружение в сознание того, что они женаты. Мегги-то была на это способна; в ту пору Мегги и сама была божественный, восхитительный максимум. Он видел в ней это ежедневно, проникаясь своеоб-

²² Маленький князь (*ит.*).

²³ Мягкий фарфор (*фр.*) – фарфор, изготовленный по особой технологии.

разным деликатным почтением, почти доходившим до какого-то религиозного преклонения перед красотой и святостью их отношений. О да, она была своей матерью – но и еще чем-то сверх того; очередное открытие так подействовало на него, что он уже готов был видеть в ней что угодно сверх того, чем была ее мать.

Ловя практически каждую спокойную минуту, он заново переживал долгий процесс, каким пришел к разнообразию своих сегодняшних интересов – пришел, как «нахальный» молодой человек приходит к работодателю без всяких рекомендаций или заводит знакомство, может быть даже – настоящего друга, заговорив с прохожим на улице. Для мистера Вервера настоящим другом во всей это истории стал его собственный разум, с которым никто его специально не знакомил. Он сам постучался в двери этого сугубо частного жилища и, сказать по правде, далеко не сразу получил ответ на свой призыв; он долго ждал, уходил и возвращался снова, а когда наконец вошел внутрь, сделал это, смущенно вертя в руках шляпу, словно застенчивый незнакомец, а не то – подобрыв отмычку, аки тать в ночи. Лишь со временем набрался он уверенности, но уж когда почувствовал себя в доме хозяином, то поселился здесь навсегда. Нужно признать, он гордился, что преуспел в этом. Гордиться жалким источником своего успеха, гордиться деньгами значило бы гордиться тем, что досталось ему, по сравнению, слишком уж легко. Истинная отрада для души – преодоление препятствий, а главным препятствием, из-за скромности мистера Вервера, стало для него – поверить в себя. И с этой задачей он сумел справиться, сумел найти решение, что и давало ему теперь почву под ногами, озаряя радостью его дни, и, когда ему хотелось, чтобы на душе «захорошело», как говорят в Америкэн-Сити, достаточно было еще раз мысленно проследить проделанный огромный путь. К этому, в сущности, все и сводилось: то была его дорога, не чье-нибудь чужое свершение, низко и мерзостно выдаваемое за свое. Одна только мысль о том, от какого рабства он был избавлен, позволяла мистеру Верверу уважать себя, даже от души восхищаться собой как абсолютно свободным человеком. В любой момент можно было нажать тончайшую пружину, отзывавшуюся на самое легкое прикосновение: воспоминание о том, как засияла перед ним заря свободы, подобная восходу солнца в розовом серебре, однажды зимой, которую проводил он во Флоренции, Риме и Неаполе, три года спустя после смерти жены. Особенно вспоминалось ему озарение в Риме, схожее с блистанием утреннего неба в предраассветной тишине. В этом городе, древнем обиталище пап и князей, внезапное осознание собственных способностей ударило в голову мистеру Верверу. Он был простой американский гражданин, остановившийся в отеле, где частенько проживали до двадцати таких, как он, но никакой князь, никакой папа римский, по его глубокому убеждению, не проникал так глубоко в самую суть понятия «Покровитель искусств». Право, ему было стыдно за них, если не сказать – страшно. Выше всего он вознесся, читая книгу Германа Гримма, где Юлию Второму и Льву Десятому давалась «оценка» на основе их обращения с Микеланджело. Куда им было до простого американца! – по крайней мере, в тех случаях, когда сей персонаж не оказывался слишком прост, чтобы быть Адамом Вервером. Более того, можно, без сомнения, утверждать, что результаты подобных сравнений, ударяя в голову мистера Вервера, там же порой и оставались. Свобода видеть, в которую составной частью входили и те самые сравнения, неуклонно росла и росла – да и могло ли быть иначе?

Возможно, она даже слишком заменила для него вообще всякую свободу. К примеру, этой свободы его никто не лишал и во время эпизода с кознями миссис Рэнс, с бильярдной и воскресным утром – кстати, мы что-то уж очень отклонились в сторону от этого происшествия. Во всяком случае, практически все прочие жизненные свободы находились под контролем миссис Рэнс, как в настоящем, так и на ближайшее будущее: свобода провести этот час, как пожелается, свобода хоть ненадолго забыть о том, что в случае внезапного брачного предложения (причем не только со стороны данной претендентки, но и всякой другой также) он, конечно, не сваляет дурака, однако испытание все-таки предстоит весьма тяжелое; а в частности – свобода спокойно перебирать письма и журналы, вдали от всех, лишь по звуку определяя

местонахождение стозевого чудовища, с завидным постоянством упражнявшего по его поводу свои легкие. Миссис Рэнс оставалась с ним, пока остальные не вернулись из церкви, и к этому времени стало еще более ясно, что его испытание – когда оно настанет – будет в самом деле чрезвычайно малоприятным. Почему-то у него сложилось впечатление, будто миссис Рэнс сама не вполне сознает свое преимущество, сделавшись невольным символом злополучного недочета мистера Вервера, заключающегося в отсутствии жены, которой можно было бы переадресовывать все и всяческие поползновения. А миссис Рэнс, насколько он мог судить, буквально распирало от самых непредвиденных поползновений, причем такого сорта, что справиться с ними в одиночку было абсолютно нереально. И когда гостя говорила, или все равно что говорила: «Я, видите ли, ограничена в своих возможностях из-за мистера Рэнса, а еще из-за того, что я такая гордая и утонченная, а вот кабы не мистер Рэнс, да не гордая утонченность!..» – в такие минуты, говорю я, эти неведомые возможности заполняли грядущее шорохом и шелестом, шелестом пышных юбок, многостраничных надушенных писем и голосов, очень разных, но схожих в одном, и не так уж важно, в какой именно области гулко шелестящей местности они учились добиваться своего.

Как выяснилось, супруги Ассингем и барышни Латч решили прогуляться по парку до старинной церквушки «на территории поместья», такой прелестной в своей простоте, что наш друг нередко ловил себя на мысли: вот бы поместить ее, прямо как есть, в стеклянную витрину и перенести в какой-нибудь из его выставочных залов; Мегги же уговорила своего мужа, привычного к подобной практике, отправиться вместе с нею в экипаже чуть подальше, к ближайшему алтарю, пускай довольно скромному, католической веры, которой придерживались и Мегги, и ее покойная мать и приверженцем которой мистер Вервер охотно позволял считать себя самого, очистив и подготовив таким образом сцену, без которой пьеса ее замужества, возможно, так и не была бы разыграна.

В конце концов, одновременно возвратившись домой, все разрозненные богомолцы встретились у порога и какое-то время бесцельно бродили из комнаты в комнату, после чего принялись отыскивать оставшуюся дома парочку. Поиски привели их к дверям бильярдной, и, когда эти двери распахнулись, впуская вновь прибывших, с Адамом Вервером произошла очень странная вещь. Право, это было поразительно: новое понимание расцвело для него в мгновение ока, как будто распустился от одного-единственного дыхания невиданный цветок. Дыханием, между прочим, оказалось не что иное, как выражение глаз его дочери, в которых он ясно увидел, как ей открывается решительно все, что происходило в ее отсутствие: как миссис Рэнс настигла его в этом отдаленном уголке и как он в обычном для себя духе и в весьма характерной форме покорился возникшему осложнению – словом, Мегги окончательно утвердилась в одной из тревожащих ее мыслей. Правда, мысль эта, хоть Мегги ни с кем ею не делилась, посетила не ее одну; лицо Фанни Ассингем в ту минуту тоже не было загадкой для мистера Вервера, да и барышни Латч смотрели во все глаза – ровным счетом четыре прекрасных глаза, сверкающие каким-то необычным блеском. За исключением князя, да еще полковника, которому было все равно, так что он даже не заметил реакции остальных, – все они что-то поняли или, по крайней мере, подумали о том же, о чем и Мегги, а именно: что миссис Рэнс давно уже замышляла нечто подобное и только выжидала удобного случая. Судя по легкому оттенку испуга во взорах барышень Латч, их мысленному взору сейчас представлялась огромная энергия, непреодолимо утверждающая себя. Если уж на то пошло, положение барышень Латч было до невероятности смешным: они сами, без всякого злого умысла, ввели в дом миссис Рэнч, воодушевленные тем неоспоримым фактом, что когда-то им довелось собственными глазами лицезреть мистера Рэнча; и вот, можно сказать, из подаренного ими букета (а миссис Рэнс – тот еще букет!) неожиданно показалась ядовитая змея. Мистер Вервер прямо-таки ощущал подозрения барышень Латч, столь сильные, что это даже отчасти бросало тень на его собственное чувство приличия.

Впрочем, все это он заметил мельком; как я уже намекал, по-настоящему важно было только одно: его безмолвный обмен взглядами с Мегги. Лишь в ее тревоге таилась истинная глубина, отчего перед мистером Вервером распахнулись неожиданные горизонты, необъятно широкие именно в силу своей новизны. Разве это случалось в их совместном прошлом, чтобы она, пускай без единого слова, беспокоилась за него отдельно от себя? Были у них общие страхи, были и общие радости, но Мегги, во всяком случае, и тревожилась, и радовалась за обоих поровну. И вдруг возникает вопрос, касающийся только его одного, и этот беззвучный взрыв стал для них своеобразной вехой. Получается, он сделался теперь ее заботой, даже в каком-то смысле – ее обузой, как нечто, совершенно отдельное от нее, а раньше просто жил в самой глубине ее сердца, в самой сердцевине ее жизни, слишком глубоко, если уж на то пошло, чтобы отделить его от себя или даже противопоставить, – словом, чтобы смотреть на него объективно. Но время в конце концов совершило это; отношения между ними необратимо изменились, и снова мистер Вервер видел, как его дочь начинает осознавать эту перемену. Тем самым и для него все стало яснее, и дело тут было не просто в какой-то там миссис Рэнс. И для Мегги тоже гостя вдруг из неудобного осложнения одним махом превратилась в символ, чуть ли не дар судьбы. Теперь, когда они с Америго женаты, когда они – Князь и Княгиня, вокруг ее отца образовалась пустота, освободилось место в пределах досягаемости других, и другие не замедлили обратить на это внимание. А заодно и он сам обратил на это внимание в ту самую минуту, пока Мегги стояла перед ним, прежде чем заговорить; больше того, догадываясь о том, что увидела она, мистер Вервер догадывался и о том, что она догадывается о его прозрении.

Можно еще добавить, что это была бы самая яркая из его догадок, не будь рядом Фанни Ассингем. Мистер Вервер ясно видел по ее лицу: ко всему прочему, Фанни со свойственной ей наблюдательностью тоже увидела то, что открылось им обоим.

9

Безмолвное взаимопонимание в таких широких масштабах, несомненно, достойно изумления, и, признаться, мы, может быть, забежали вперед, приписав действующим лицам разыгравшейся на наших глазах сцены выводы, к которым они пришли гораздо позднее. И все же тихие минуты, которые отец и дочь провели наедине в тот день, немного времени спустя, были почти полностью посвящены открытиям, сделанным ими в момент подспудной напряженности при появлении вернувшихся из церкви. Ни до ланча, ни сразу после между ними ни о чем таком не упоминалось, если только не усматривать особого значения в том, что они так долго медлили со встречей. После ланча – а по воскресным дням этот обычай соблюдался особенно строго, по причинам, связанным с некоторыми вопросами домашнего хозяйства, находившимися в ведении Мегги, – княгинюшка имела обыкновение проводить час-другой с малышом, причем часто заставляла в его комнатах отца, или же тот чуть раньше или чуть позже приходил к ней туда. Как бы его ни отвлекали, посещение внука совершалось неизменно, и это не считая визитов внука к бабушке, не менее регулярных и упорядоченных, и в придачу встреч-«огрызочков», как называл их мистер Вервер, от случая к случаю, при всякой возможности, а чаще всего – на террасе, в саду или в парке, где Принчипино дышал свежим воздухом, расположившись с большой важностью и торжественностью в своей коляске, под сенью изящного кружевного зонтика и в сопровождении неподкупной особы женского пола. Владения детской занимали чуть ли не целое крыло огромного дома, и доступ туда был так труден, словно эти апартаменты располагались в королевском дворце, а малыш был наследником престола. Разговоры, происходившие в урочный час в этом святилище, неизменно посвящались его главному обитателю, если не были обращены непосредственно к нему, а все прочие темы, оставшись в полном небрежении, научились держаться в тени и не высовываться понапрасну. В лучшем случае посторонние темы могли быть допущены, если были как-то связаны с будущим мальчика, с его прошлым или всепоглощающим настоящим, но им не давалось ни единого шанса заявить о своих собственных достоинствах или пожаловаться на недостаток внимания к себе. Пожалуй, именно эти встречи больше всего создавали у взрослых участников ощущение, что жизнь не только не разлучила их, но и объединила друг с другом еще крепче, еще теснее – мы уже упоминали об этом с точки зрения Адама Вервера. Разумеется, всем давно известно, что прелестный младенец может стать связующим звеном между мужем и женою, а вот Мегги с отцом ухитрились превратить бесценное создание в связующее звено между мамочкой и дедом. В результате Принчипино, случайный свидетель этого процесса, вполне мог остаться злосчастным полусироткой, лишенным, на жалость всем окружающим, ближайшего родителя мужского пола.

Объединившись в истовом благочестивом преклонении, Мегги с отцом просто не имели возможности поговорить о том, чем может стать князь для своего сына – ведь в его отсутствие для него всегда находилась замена. Притом же ни у кого не возникало сомнений на его счет. Он обожал возиться с ребенком у всех на глазах, с чисто итальянской непосредственностью, когда находил возможность уделить ему внимание; во всяком случае, на глазах у Мегги, которой в целом чаще представлялся случай побеседовать с мужем о причудах отца, нежели с отцом – о причудах мужа. Адам Вервер, со своей стороны, смотрел на происходящее со спокойной душой. Он был глубоко убежден, что его зять любит его внука, прежде всего потому, что – то ли под действием инстинкта, то ли по велению традиций – вышеупомянутый зять произвел на свет ребенка настолько неотразимого, что его невозможно было не любить. Но больше всего способствовала гармонии, царившей в их взаимоотношениях, невысказанная готовность молодого человека признать право на существование и за бабушкиной традицией – что уж там, традиция за традицию! Эта традиция, или что бы там ни было, давно уже закрепились и за

самой княгинюшкой. Америго же воздавал ей должное, тактично отступая в сторону. Короче говоря, в своих воззрениях по поводу собственного сына князь так же удачно огибал острые углы, как и во всех других случаях; и мистер Вервер, пожалуй, никогда так ясно не ощущал себя неким удивительным явлением природы в глазах своего зятя, как в эти часы, безнаказанно проводимые в детской. Как будто подобное проявление собственничества со стороны бабушки лишь служило князю дополнительным объектом для наблюдения и изучения. Мистер Вервер понимал, что дело здесь в одной особенности характера князя, подмеченной им раньше: князь был решительно не способен делать выводы по поводу того, что его касалось.

Ему все нужно было объяснять – впрочем, он всегда замечательно воспринимал объяснения. В конце концов, это главное: бедняжка очень старался понять и принять. Если уж на то пошло, откуда нам знать, что лошадь, которая не пугается трактора, не испугается, скажем, духового оркестра? Может, она с детства привычна к тракторам, а к духовым оркестрам не привыкла. Так же и князь мало-помалу, месяц за месяцем пытался уяснить для себя привычки отца своей жены. Вот еще одна деталь установлена: среди его привычек – романтическое отношение к маленьким князьям. Кто бы мог подумать и где же этому предел? Одного лишь опасался мистер Вервер: как бы не разочаровать князя, показав себя недостаточно странным. Он чувствовал, что проявляет себя слишком уж с положительной стороны в этом плане. Он только теперь начал узнавать, сам дивясь и забавляясь, как много, оказывается, у него привычек. Хоть бы князю удалось напасть на что-нибудь такое, к чему он непривычен! Мистер Вервер полагал, что это не нарушило бы безупречной гладкости их взаимоотношений, зато, возможно, немного придало бы им интереса.

Во всяком случае, в настоящий момент отцу и дочери было ясно одно: они просто знали, что им пока что хочется быть вместе – так сказать, любой ценой. И эта потребность вывела их из дома, подальше от собравшихся вместе друзей, заставив направиться, незаметно для других, по тенистой аллее так называемого старого сада, старого – благодаря старомодной формальности его облика, высоким рядам вечнозеленого самшита, подстриженным тисам и кирпичным стенам, одновременно лиловым и розоватым от дряхлости. Они вышли через дверцу в стене, дверцу, над которой была укреплена каменная дощечка с надписью старинным шрифтом – «1713»; теперь перед ними оказалась небольшая белая калитка, ослепительно белая и чистая среди пышной зелени, и вот наконец они добрались до тихого уголка, где росли самые величественные деревья. В незапамятные времена кто-то установил скамейку под огромным дубом, возвышающимся на холме, позади которого почва резко уходила вниз, повышаясь снова уже на достаточно далеком расстоянии, отгораживая это место от всего мира и замыкая его вдали лесистым горизонтом. Благословенное лето еще не совсем ушло, и низко стоящее солнце, пронизывая негустую тень, бросало яркие световые блики; Мегги, собираясь выходить, захватила с собой солнечный зонтик и теперь держала его над своей очаровательной непокрытой головой. Этот зонтик вкупе с широкополой соломенной шляпой, которую отец Мегги в последнее время завел обыкновение носить сдвинутой на затылок, придавал их прогулке особую определенность и целенаправленность. Они знали эту скамью, часто восхищались ею, называя «уединенной» – им очень нравилось это слово; и, задержавшись около нее, могли бы улыбнуться над тем, как, должно быть, удивляются остальные, гадая, куда они подевались (вот только настроение у них было слишком серьезное, и, вообще, такие вещи очень быстро потеряли для них всякое значение).

Удовольствие, которое они испытывали при мысли о собственном безразличии к мнению гостей по поводу такого пренебрежения церемониями, – о чем говорило оно, если не о том, что, как правило, эти люди думали главным образом о других? Каждый знал за другим суеверную боязнь «обидеть» кого-нибудь, но, очень может быть, как раз в эту самую минуту оба спрашивали себя, а вернее – друг друга, должно ли это стать последним шагом в их развитии? Уж во всяком случае, за чаем, накрытым в самом подходящем месте на западной террасе, народу

хватает – в придачу к Ассингемам, барышням Латч и миссис Рэнс наверняка присутствуют еще четыре-пять персон, в том числе очень хорошенькая мисс Мэддок, типичная ирландка, которую давно и много расхваливали и наконец привели в гости. Все эти люди приходили или приезжали из расположенных по соседству домов, среди коих было и временное скромное жилище их домовладельца, поселившегося там в целях экономии на время, пока сдавалась внаем усадьба его предков, и обитавшего, таким образом, в пределах видимости источника своих доходов. Придется этой компании в кои-то веки самой позаботиться о себе. Что уж там, на Фанни Ассингем всегда можно положиться: она не уронит честь мистера Вервера и его дочери, поддержит их репутацию гостеприимных хозяев, и даже сумеет как-нибудь оправдать их отсутствие в глазах Америкго, если тот вдруг ни с того ни с сего забеспокоится – кто их знает, этих чудаков-итальянцев! Княгинюшка прекрасно знала, что их приятельница всегда может повлиять на Америкго, неизменно восприимчивого к ее объяснениям, уверениям и уговорам. В сущности, он, похоже, стал еще больше полагаться на нее в этом плане с тех пор, как для него началась, по его собственному выражению, новая жизнь. Для Мегги не было тайной, – княгинюшка даже часто весело шутила по этому поводу, – что она не умеет объяснять так хорошо, как миссис Ассингем, а князь любит объяснения, он их просто-таки коллекционирует, как коллекционируют экслибрисы или почтовые марки, а стало быть, нужно тем или другим способом обеспечить ему это удовольствие. Князь, похоже, до поры до времени не извлекал из накопившихся объяснений никакой практической пользы. Скорее они выполняли чисто декоративную роль, доставляя невинное развлечение из разряда тех, что были ему особенно по душе, и в этом так ярко проявлялась его прелестная, приятнейшая особенность – чуть ленивое безразличие к более порочным и даже просто более утонченным забавам.

Так или иначе, отец с дочерью мало-помалу признали с веселой и непринужденной открытостью, что дорогая Фанни – также не оставшаяся в неведении относительно этого факта – выполняет в их семейном кругу определенную функцию, причем отнюдь не всегда чисто номинальную. Можно подумать, она взяла на себя определенные обязательства: являться по первому зову, ведя за собой своего милого, меланхоличного полковника, как только такая необходимость возникала по ходу беседы, а чаще, надо полагать, в минуты праздности. Вследствие чего она стала значительно чаще присутствовать в доме; достойные супруги постоянно приезжали в гости, их визиты затягивались надолго, не вызывая возражений даже для виду. Сам Америкго характеризовал смысл ее приезда такими словами: она действует на него успокаивающе. Толкование, можно сказать, просто идеальное, будь в характере Америкго заметна хоть малейшая склонность волноваться по какому бы то ни было поводу. Фанни всячески преуменьшала свою роль, утверждая, что для ручного, домашнего ягненка с розовой ленточкой на шее вовсе не нужен тюремщик. Такое животное не требуется сторожить; в крайнем случае, его требуется обучать. В соответствии с этим она признавала, что просвещает князя – чем Мегги, само собой разумеется, никак не могла заниматься и превосходно это понимала. Дело кончилось тем, что Фанни была доверена забота о князе в чисто интеллектуальном плане. Слава богу, в распоряжении Мегги оставалась еще достаточно обширная и разнообразная сфера деятельности, и на князя, фигурально выражаясь, обрушивались целые лавины розовых ленточек. По сути, роли распределились следующим образом: миссис Ассингем печется о спокойствии князя, а тем временем его жена и тесть скромно наслаждаются своим маленьким пикником; кстати сказать, всем участникам собравшегося в поместье кружка это было не менее необходимо, нежели тем двоим, чьего общества остальные сегодня лишились чуть ли не в первый раз за все это время. Мегги знала, что рядом с ней князь в состоянии выносить практически любые чудачества странных английских типов, которые вызывали у него невыносимую скуку, поскольку были совершенно не похожи на него самого. В таких ситуациях жена способна оказать мужу самую что ни на есть реальную и ощутимую поддержку. Но столь же ясно Мегги сознавала, что в ее отсутствие князь едва ли в силах выдержать близкое столкновение с британ-

цами. Как он будет двигаться, говорить и, прежде всего, выглядеть, – он, который умеет выглядеть так чудесно со своим аристократически красивым лицом, – каков он будет, оставшись в одиночестве среди существ, повергающих его в полное недоумение? Взять хоть ближайших соседей – иные из них очень могли повергнуть в недоумение; вот только у самой Мегги тоже была маленькая странность, ничуть не сердившая князя: чем они были страннее, тем больше нравились ей. Это у нее наследственное, утверждал, посмеиваясь, князь, – такое пристрастие к chinoiserie²⁴; но в тот вечер это ее ничуть не смущало – пусть справляется с ее китайцами, как умеет.

Будь подобные моменты немного чаще, они всякий раз напоминали бы Мегги поразившие ее однажды слова миссис Ассингем насчет того самого аппетита на объяснения, который мы только что имели случай подметить в характере Америго. Не то чтобы княгиня согласилась быть обязанной кому-то другому, пусть даже такой умнице, как ее подруга, пониманием чего бы то ни было в характере своего мужа, – как будто она сама бы не разглядела! – но Мегги всегда умела принимать с благодарностью четкую формулировку тех истин, какие сама она, угадывая чутьем, не могла выразить словами; Мегги отлично знала за собой ужасную склонность вечно говорить не то, что надо. Потому только и находила она в себе силы жить в постоянном сознании факта, столь недвусмысленно высказанного их общей утешительницей: князь с какой-то неведомой но, безусловно, высокой целью копит всевозможные ответы на свои вопросы, все впечатления и обобщения, какие ему удастся собрать; он хранит их и лелеет, чтобы ружье его оказалось заряженным на полную катушку в тот день, когда понадобится из него выстрелить. Он хочет сперва разузнать абсолютно все о предмете в целом, а там уж бесчисленные накопленные им факты найдут свое применение. Он знает, что делает, и, будьте уверены, в конце концов произведет весьма заметный шумовой эффект. И миссис Ассингем еще раз повторила: князь знает, что делает. Мегги запомнила эту удачно найденную формулу и в случае чего могла напомнить себе: Америго знает, что делает. Пусть он временами кажется рассеянным, невнимательным, даже скучающим; так случалось в отсутствие ее отца, с которым князь, кажется, не мог быть никаким другим, кроме как почтительно-заинтересованным, – князь вдруг давал выход своей природной веселости, принимаясь петь или просто издавать какие-то причудливо-бессмысленные звуки, то выражающие незамутненную безмятежность духа, то фантастически жалобные.

Иногда он с полной откровенностью начинал распространяться о том, что у него на родине еще осталась кое-какая собственность: дом в Риме – главная его привязанность в жизни, большой черный дворец, Палаццо Неро, как с нежностью именовал его князь; и еще вилла в Сабинских горах, которую Мегги видела во время их помолвки и по которой страстно тосковала; и сам Каstellо, замок, о котором князь всегда говорил, что он «примостился на скале», – Мегги знала, что когда-то замок гордо возвышался на горном склоне, синевя вдали, главою всего княжества. Случалось другое настроение, и князь бурно радовался, что все эти владения находятся так далеко; нельзя сказать, чтобы он бесповоротно их потерял, но все они были обременены бесконечными арендами и опеками, строптивыми жильцами, словом, совершенно недоступны для использования, и это еще не считая целой тучи закладных, давным-давно похоронивших всю вышеперечисленную недвижимость под пеплом гнева и тщетных сожалений, толщиной никак не меньше того слоя, что накрыл собою когда-то города у подножия Везувия, так что любые попытки восстановить одно из имений оказывались сродни медленным и мучительным археологическим раскопкам. Но вдруг настроение князя разом менялось, и он чуть ли не плакал навзрыд, горя о своем потерянном рае, обзывая себя безмозглым болваном за то, что никак не может решиться на жертвы, необходимые, чтобы вновь

²⁴ Китайские безделушки (*фр.*).

обрести утраченную вотчину, – жертвы, впрочем, пришлось бы в случае чего приносить не кому иному, как мистеру Верверу.

В то же время было между мужем и женой нечто необыкновенно умиротворяющее – нечто незыблемое, чему можно только радоваться. Дело в том, что Мегги никогда так не восхищалась князем, никогда не казался он ей таким душераздирающе прекрасным, умным, неотразимым, – именно таким, каким впервые явился перед ней, очаровав раз и навсегда, – как в те минуты, когда другие женщины при виде его прямо у нее на глазах тоже превращались в какую-то безвольную массу. Любимой темой для шуток в самые сокровенные моменты для них было: как это удачно, и сколько свободы дает обоим. Мегги доходила до того, чтобы заявить: даже если князь в один прекрасный день напьется пьяным и поколотит ее, стоит ей увидеть его в окружении ненавистных соперниц, это зрелище мигом приведет ее в чувство. Так что ему будет проще простого поддерживать в ней влюбленность. В такие легкомысленные минуты князь соглашался, что это совсем нетрудно, тем более что, будучи устроен весьма примитивно, он знает лишь один способ обращения с представительницами прекрасного пола – и с чего бы ему этого стыдиться? Они должны быть действительно прекрасны, ведь он очень привередлив и придерживается самых высоких стандартов, но если уж они достаточно прекрасны, чтобы с ними вообще можно было иметь дело, что может сделать порядочный и гуманный человек, как не проявить самый обыкновенный интерес к их красоте? Его интерес, неизменно отвечала она, совсем даже не «обыкновенный», да и вообще во всем этом нет ничего обыкновенного, напротив, сплошные причудливые узоры самых удивительных оттенков. Во всяком случае, исходный постулат установили со всей отчетливостью: всевозможные мисс Мэддок нашей жизни могут быть вполне уверены в своей значимости для него. Мегги с безмятежным спокойствием не раз говорила об этом и отцу, чтобы он тоже мог разделить с ними шутку. При ее нежном и мягком характере было вполне естественно подумать о том, какую радость может ему доставить при случае ее доверительная откровенность. Такая уж у нее была установка – она постоянно придумывала себе всяческие правила, о ком-нибудь заботилась, о чем-то хлопотала. Конечно, она не все могла рассказать отцу словами о себе и Америго, о том, как они счастливы вместе, о самых глубоких глубинах, а что-то было понятно и без слов, но много было и другого – истинного и забавного, что вполне можно было пристроить к делу, по мнению Мегги, успевшей выстроить для себя изощреннейшую систему подходящего дочернего поведения.

Вся природа словно притихла, пока Мегги медлила в стороне от всех, наедине со своим спутником; безмятежность эта подразумевала многое: такой безупречный, такой роскошный покой раскинулся вокруг, что, будь они чуточку беднее духом, можно было заподозрить дерзкую гордыню в подобной легкости непоколебимого доверия. Но как раз гордыни-то в них не было – мы не такие, могли уверенно сказать про себя эти двое. Они были просто счастливы и смиренно благодарны, и не стыдились отдавать себе отчет в том, что великое – велико, хорошее – хорошо, надежное – надежно, а потому не позволяли себе унижать свое счастье трусостью, что было бы ничуть не лучше, чем унижать его наглой самоуверенностью. Они были достойны своего счастья, и, взглядываясь в них напоследок, мы видим, что каждый хочет, чтобы другой почувствовал это, и вот в задумчивой встрече их взглядов угадывается и тает, как тихий вздох в вечернем воздухе, выражение словно какой-то беспомощности перед собственным блаженством. Они понимали, что все правильно и все оправдано, но, быть может, они спрашивали себя в некоторой растерянности: что же делать дальше с чем-то настолько совершенным? Они создали это совершенство, взлелеяли и упрочили его, они поместили его в этом доме, полном достоинства, и увенчали всевозможным комфортом, но не настало ли для них то мгновение, – или, по крайней мере, для нас, глядящих, как они стоят перед лицом своей судьбы, – когда приходит понимание того, что «правильно» – это еще далеко не все? Иначе почему через малое время с губ Мегги слетели слова, выражающие неприкрытое сомнение, как отголосок неясной боли, возникшей несколько часов назад.

– В конце концов, что такое они хотят тебе сделать?

Также и для княгинюшки слово «они» обозначало грозно надвинувшиеся силы, символом которых стала миссис Рэнс, и отец улыбнулся в ответ. На душе у него вдруг сделалось легко, он даже не потрудился притвориться, будто не понимает смысла ее вопроса. Смысл – раз уж она заговорила – был вполне ясен; впрочем, тут еще не было оснований разворачивать мощную оборонительную кампанию. Беседа потекла свободнее, и вскоре Мегги подала новую мысль, сказав:

– На самом деле случилось то, что пропорции для нас изменились.

Мистер Вервер столь же молчаливо принял и это, несколько загадочное, замечание; не стал он возражать даже и тогда, когда она прибавила, что все было бы не так уж страшно, не будь он так ужасающе молод. Слабый звук протеста вырвался у него, лишь когда она заявила вслед за этим, что, мол, ей бы надо было подождать, как порядочной дочери. Но тут же и сама признала, что ждать пришлось бы слишком долго – то бишь, если бы она стала дожидаться, пока он состарится. Но все-таки выход есть.

– Раз уж ты такой неотразимый юноша, придется нам посмотреть правде в лицо, никуда не денешься. Та женщина заставила меня понять это. А будут и другие.

10

Все-таки, оказывается, большое облегчение – вот так говорить обо всем этом. – Да, будут и другие. Но ты меня поддержишь.

Мегги помолчала в нерешительности.

– Ты хочешь сказать – если ты сдашься?

– Нет-нет. Пока я буду отбиваться.

И снова Мегги замолчала, а когда заговорила опять, слова ее прозвучали как-то отрывисто.

– А разве обязательно постоянно отбиваться?

Он не вздрогнул – сказалась привычка находить гармонию во всем, сказанном ею. Собственно говоря, весь облик мистера Вервера свидетельствовал о том, что бесконечно отбиваться ему не так уж и подходит, будь эта реакция врожденной или благоприобретенной. Посмотреть на него – так, похоже, ему еще долго придется этим заниматься, ведь желающих-то хоть отбавляй. По виду не заметно, чтобы век его приближался к концу и чувства ему изменяли, и не важно, что он невысокий, щуплый, немного похож на простачка и в осанке никакого величия. Сила его, хоть в наступлении, хоть в сопротивлении, и в прошлом, и на будущее измеряется не ростом, и не весом, и никаким другим вульгарным количественным показателем. Больше того, было в нем нечто такое, благодаря чему в любой сцене с участием группы людей мистер Вервер отодвигался на задний план, просто-таки зримо и вполне сознательно сторонясь огней рампы.

Ни в коем случае не хотел бы он оказаться режиссером или автором пьесы, чье место – на просцениуме; в крайнем случае мог бы финансировать постановку, приглядывая из-за кулис за поступлением прибыли, но отнюдь не скрывая скудости своих познаний о тайнах лицедейства. Ростом едва ли выше собственной дочери, он не превосходил ее полностью, вопреки расхожему мнению, приравнивающему полноту к солидности. Мистер Вервер довольно рано лишился большей части жестких, мелко курчавящихся волос, оставивших по себе память в виде небольшой аккуратной бородки, которая была чересчур компактна, чтобы именоваться «пышной», однако же покрывала не только подбородок, но и щеки, и верхнюю губу, словно возмещая тем самым отсутствие иных отличительных знаков. Аккуратное, бесцветное лицо, наделенное лишь самыми необходимыми чертами, – при его описании первым делом приходило на ум слово «ясный» и образ чистенькой, приличной комнатки, старательно выметенной и не заставленной мебелью, но обладающей одним специфическим достоинством, замечаемым практически сразу: парой больших незанавешенных окон. Такие уж были глаза у Адама Вервера, что впускали равно утренний и вечерний свет в невероятных количествах, и в то же время зрительно расширяли скромное помещение за счет открывающегося из них вида, который был неизменно «обширным», даже если видны были всего лишь звезды. Густого и переменчивого синего цвета, не будучи романтически огромными, глаза его все же отличались удивительной юношеской красотой и странной рассеянностью взгляда – не знаешь, чему они больше открыты, то ли зрению своего обладателя, то ли твоему собственному взору. Так или иначе, эти глаза придавали неповторимый облик своему окружению, как выражаются агенты по недвижимости; они никого не оставляли без внимания, постоянно двигались в поисках возможного общения, взаимопонимания, какого-то неведомого открытия, впереди ли, позади ли себя. Прочие элементы внешности старались держаться в тени, и особенно ненавязчиво было платье нашего друга, ибо одевался он в раз и навсегда заведенном стиле, словно стесняясь совершать излишние траты. Круглый год и по всякому случаю он носил одну и ту же черную визитку по моде времен своей молодости, одни и те же сдержанно-элегантные брюки в черно-белую клетку, идеально гармонирующие, по глубочайшему убеждению мистера Вер-

вера, с синим атласным галстуком в белый горошек, а впадину живота, независимо от климата и времени года, неизменно прикрывал белый жилет из парусины. И вот теперь он спрашивал:

– Ты бы в самом деле хотела, чтобы я женился?

Он как будто говорил: раз уж этого хочет его дочь, возможно, это действительно неплохая идея, и, коли на то пошло, он готов хоть сейчас ее осуществить, пусть только дочка выскажется определенно.

Но Мегги еще не была готова высказаться определенно, хотя, пока она раздумывала, ей, по-видимому, пришла в голову некая истина, которую стоило произнести вслух.

– У меня такое чувство, что из-за меня что-то стало неправильно, а раньше было правильно. Было правильно, что ты не женишься и не собираешься. И еще, – рассуждала она, – казалось совершенно естественным, что даже вопроса об этом не возникает. Но из-за меня все переменялось. Теперь вопрос возникает. Будет возникать.

– Ты думаешь, я с этим не справлюсь? – отозвался мистер Вервер тоном жизнерадостной задумчивости.

– Видишь, из-за моего поступка тебе теперь приходится бороться с разными трудностями.

Ему была приятна ее забота, и, когда она села рядом, он обнял ее одной рукой.

– Я не чувствую, чтобы ты «ушла» очень уж далеко. Рукой подать.

– Знаешь, – продолжала она, – по-моему, это как-то нечестно, что я вот так бросила тебя на произвол судьбы. Если из-за меня у тебя начались такие перемены, я не могу о них не думать.

– И что же ты думаешь, милая? – спросил он снисходительно.

– Сама еще не знаю. Нужно разобраться. Надо нам с тобой подумать вместе, как мы всегда делали. Я вот что хочу сказать, – заговорила она после паузы, – мне кажется, я должна предложить тебе какую-то альтернативу. Надо что-то придумать для тебя.

– Альтернативу чему?

– Да вот тому, что тебе просто приходится обходиться без того, что ты потерял, и никто ничего не сделал по этому поводу.

– Что же такое я потерял?

Она подумала с минуту, как будто все яснее видела что-то, только не находила слов.

– Ну, не знаю – то, что раньше позволяло нам не думать о таких вещах. Как будто тебя нельзя было, что называется, выбросить на рынок, потому что ты был как бы женат на мне. Или как будто я невольно охраняла тебя, потому что была замужем за тобой. А теперь я замужем за другим, и в результате ты остался неженатым. И тебя можно на ком-то женить, все равно, на ком. Им просто-напросто непонятно, почему тебе на них не жениться.

– А разве недостаточно, что мне этого не хочется? – спросил он мягко.

– Достаточно-то достаточно, только слишком уж хлопотно. Для тебя хлопотно. Это будет вечный бой. Ты спрашиваешь, что такое ты потерял, – продолжала свои объяснения Мегги. – Потерял то, что раньше у тебя не было этих хлопот и тебе не приходилось принимать бой. Вот что ты потерял. Счастье просто быть таким, какой ты есть, потому что я была такая, как была. Вот чего ты лишился.

– Стало быть, по-твоему, – помолчав, отозвался ее отец, – мне следует жениться только ради того, чтобы стало как раньше?

Он говорил отстраненным тоном, словно всего лишь хотел позабавить ее, демонстрируя свою готовность пойти ей навстречу, и в самом деле сумел добиться отрывистого смешка, несмотря на всю ее серьезность.

– Просто не думай, что я тебя не пойму, если ты все-таки это сделаешь. Я пойму. Вот и все, – тихо сказала княгинюшка.

Мистер Вервер доброжелательно обдумал ее слова.

– Но ведь ты не стала бы требовать, чтобы я женился на женщине, которая мне совсем не нравится?

– Ах, папа, – вздохнула она, – ты и сам знаешь, что я стала бы и чего не стала бы. Я хочу только одного: если когда-нибудь тебе кто-нибудь понравится, не сомневайся, я всегда буду сознавать, что это я тебя до этого довела. Ты всегда будешь знать, что я знаю, что я во всем виновата.

– Другими словами, – продолжил он со своей обычной обстоятельностью, – ты готова взять на себя все последствия?

Мегги раздумывала не более минуты.

– Все хорошие последствия я отдам тебе, а себе возьму плохие.

– Что ж, это благородно. – Он притянул ее поближе и нежно обнял. – Примерно этого я от тебя и ожидал. Значит, будем считать, что мы квиты. Если когда-нибудь появится необходимость тебе выполнить свои обязательства, я дам тебе знать. А пока должен ли я понимать так, – снова заговорил он вскорее, – что, хоть ты и готова поддержать меня в поражении, но не готова, или не настолько готова, поддержать меня в обороне? Я должен стать истинным мучеником, прежде чем ты как следует воодушевишься?

Мегги возразила:

– Знаешь, если ты сам этого захочешь, это будет не поражение.

– Тогда зачем мне твоя поддержка? Я откажусь от борьбы, только если сам захочу. Но дело в том, что мне не хочется хотеть. Разве что, – поправился он, – если я буду совсем уж уверен, но это не кажется очень вероятным. Не хотелось бы заставлять себя думать, что хочу, когда на самом деле это не так. Иногда мне приходилось поступать так по другим поводам, – признался он и закончил: – Неприятно, когда тебя вынуждают совершить ошибку.

– Ах, но это же ужасно, – откликнулась она, – что тебе приходится этого бояться или просто думать о такой возможности. В конце-то концов, разве это не доказывает, – спросила Мегги, – что где-то там, глубоко-глубоко, тебе действительно чего-то не хватает? Разве это не доказывает, что ты на самом деле оказался в уязвимом положении?

– Может быть, оно и так, – отвечал отец, оправдываясь неизвестно в чем. – А еще это доказывает, по-моему, что в нашей теперешней жизни полным-полно жутко очаровательных женщин.

С минуту Мегги обдумывала это высказывание, но быстро перешла от общего к частному:

– Ты считаешь миссис Рэнс очаровательной?

– Во всяком случае, жуткой. Это одно и то же, когда они начинают плести свои чары. Мне кажется, она способна на все.

– Ну, от нее-то я тебе помогу отбиться, – решительно сказала княгинюшка, – если это все, что тебе нужно. Просто смешно, – продолжала она, не дав ему ответить, – что миссис Рэнс вообще оказалась здесь. Впрочем, надо сказать, вся наша жизнь какая-то смешная. Все дело в том, – продолжала Мегги, развивая свою мысль, – что по отношению к другим людям мы, по-моему, вовсе не живем – по крайней мере, вполнину так не живем, как могли бы. И по-моему, Америго тоже так думает. И Фанни Ассингем тоже, я просто уверена в этом.

Мистер Вервер задумался, как бы желая оказать должное уважение вышеупомянутым особам.

– А как они хотят чтобы мы жили?

– Ах, мне кажется, они смотрят на это немного по-разному. Милая Фанни считает, что нам следует жить более широко.

– Более широко? – рассеянно переспросил он. – И Америго, говоришь, тоже так думает?

– О да, – быстро ответила она, – но для Америго это не имеет значения. Я хочу сказать, ему все равно, как мы поступим. Он считает, что это наше дело – решать, как мы посмотрим

на жизнь. А Фанни считает, – продолжала Мегги, – что он замечательный. В смысле, замечательно, что он принимает все таким, как есть, мирится с «социальной ограниченностью» нашей жизни, не скучает без тех вещей, которых лишился из-за нас.

Мистер Вервер насторожился:

– Если он без них не скучает, в его великодушии нет ничего особенно замечательного.

– Вот и я так думаю! Если бы ему чего-то по-настоящему не хватало, а он все-таки был всегда милым и не жаловался, тогда, конечно, он был бы чем-то вроде неоцененного героя. Он вполне способен быть героем и станет, если понадобится. Но причиной должно быть что-то посерьезнее, а не просто наша скучная жизнь. Я уж знаю, в чем он действительно замечательный. – На этом она примолкла, но в конце концов закончила тем, с чего и начала: – Все-таки мы ведь не обязаны делать разные глупости. Если нужно жить более широко, как считает Фанни, так мы можем и широко. Что нам мешает?

– Это что, наш неперемный нравственный долг? – осведомился Адам Вервер.

– Да нет, это для развлечения.

– Чьего? Для развлечения Фанни?

– Для общего развлечения; но Фанни, надо думать, будет развлекаться больше других. – Мегги помолчала; она как будто еще что-то хотела добавить и в конце концов высказалась: – Если вдуматься, это и для твоего развлечения тоже. – И отважно продолжила: – В конце концов, не надо долго думать, чтобы сообразить, что можно сделать для тебя гораздо больше того, что делается.

Мистер Вервер издал какой-то странный неопределенный звук.

– А тебе не кажется, что ты уже очень много делаешь, когда приходишь и вот так разговариваешь здесь со мной?

– Ах, – улыбаясь ему, ответила дочь, – мы придаем этому слишком большое значение! – И тут же объяснила: – Это все хорошо, это естественно, но тут нет ничего особенно выдающегося. Мы забываем, что мы свободны, как воздух.

– Но это же замечательно, – взмолился мистер Вервер.

– Да, если мы и действуем соответственно. А если нет, то нет.

Она по-прежнему улыбалась, и мистер Вервер видел ее улыбку, но все же ему снова стало не по себе; его поразила сила чувства, угадывающаяся за шутливым тоном.

– Что ты хочешь сделать для меня? – поинтересовался он. И, поскольку она молчала, добавил: – Ты что-то задумала.

Его вдруг осенило: она же с самого начала разговора о чем-то умалчивала, и он это смутно сознавал, а временами даже не так уж смутно, хотя и уважал, вообще говоря, теоретически ее новообретенное право на недоговоренности и тайны. С самого начала какое-то беспокойство таилось в ее глазах... И то, как она то и дело задумывалась, забывая обо всем вокруг, – должна этому быть какая-то причина. Мистер Вервер больше не сомневался.

– Ты что-то такое прячешь в рукаве.

Молчит – значит, он прав!

– Я тебе скажу, и ты поймешь. В рукаве – только в том смысле, что дело в письме, которое я получила сегодня утром. Да, я о нем думала весь день. Спрашивала себя, честно ли это будет, если я – вот сейчас – попрошу тебя вытерпеть еще одну женщину.

Он почувствовал некоторое облегчение, но такая забота с ее стороны отчасти внушала тревогу.

– «Вытерпеть»?

– Ну, не будешь ли ты против того, чтобы она приехала...

Мистер Вервер широко раскрыл глаза – и тут же расхохотался.

– Это зависит от того, кто она!

– Ага, вот видишь! Я как раз и опасаясь, что именно с ней у тебя будет больше забот. То есть, что ты способен перестараться, по своей доброте.

Мистер Вервер слегка качнул ногой.

– А она на что способна по своей доброте?

– Ну-у, – отозвалась дочь, – ты, в общем, и сам знаешь, на что способна Шарлотта Стэнт.

– Шарлотта? Так это она приезжает?

– Судя по ее письму, ей бы очень хотелось, чтобы мы ее пригласили.

Мистер Вервер не сводил с дочери глаз, словно дожидаясь продолжения. Но, по-видимому, все уже было сказано, и напряжение ушло из его лица. Если дело только в этом, тогда все просто.

– Боже мой, почему же нет?

Лицо у Мегги снова просветлело, но уже совсем по-другому.

– Это не очень бестактно?

– Пригласить ее?

– Предлагать это тебе.

– Чтобы я ее пригласил?

Вопрос был остаточным следствием недоумения мистера Вервера, но повлек за собою уже собственные следствия. Мегги удивилась, потом задумалась, потом вспыхнула, словно обрадовавшись новой идее:

– Если бы ты мог, это было бы просто чудесно!

Очевидно, его случайные слова подсказали Мегги мысль, которая вначале не приходила ей в голову.

– Ты хочешь, чтобы я сам ей написал?

– Да, так будет учтивее. Это будет просто бесподобно. Конечно, – прибавила Мегги, – если ты правда это можешь.

Он как будто удивился на мгновение, почему бы ему правда не мочь, и вообще, с чего бы он стал говорить неправду? Кажется, он всегда был честен с подругой дочери.

– Дорогое мое дитя, – ответил он, – не думаю, чтобы я боялся Шарлотту.

– Ох, вот это мне очень приятно слышать. Если ты не боишься, совсем, ну вот ни чуточки, я ее сразу же приглашу.

– Кстати, где она обретается? – Он сказал это таким тоном, словно уже очень давно не думал о Шарлотте и никто при нем не произносил ее имени. В сущности, он о ней попросту позабыл, а теперь снова вспомнил, добродушно и немного забавляясь.

– Она в Бретани, в одном маленьком курортном местечке, гостит у каких-то знакомых, я их не знаю. Вечно она у кого-нибудь гостит – ей, бедненькой, приходится, даже если это люди, которые, бывает, не слишком ей нравятся.

– Мы-то ей, кажется, нравимся, – заметил Адам Вервер.

– Да, к счастью, нравимся. И если бы я не боялась испортить тебе настроение, – прибавила Мегги, – я бы даже сказала, что ты ей нравишься не меньше других.

– Почему это должно испортить мне настроение?

– Ах, ты и сам понимаешь. О чем же еще мы тут говорили? Когда ты кому-нибудь нравишься, тебе это слишком дорого обходится. Потому я и не решалась рассказать тебе о письме.

Мистер Вервер воззрился на дочь с таким видом, словно внезапно перестал понимать, о чем речь.

– Да ведь Шарлотта – когда приезжала раньше – ровным счетом ничего мне не стоила!

– Нет... Разве что расходы «на прокорм», – улыбнулась Мегги.

– Ну, так я совсем не против ее «прокормить», если дело только в этом.

Но княгинюшка, как видно, решила быть добросовестной до конца.

– Может, и не только. Я почему подумала, что было бы неплохо ее пригласить? При ней все сразу переменится.

– А что тут такого, если это будет перемена к лучшему?

– Ага, вот то-то и оно! – И княгинюшка улыбнулась, словно празднуя маленькую победу своего хитроумия. – Ты признаешь, что возможна перемена к лучшему, – значит, все-таки не все у нас так потрясающе хорошо и замечательно. Я хочу сказать, мы – как семья – не настолько довольны жизнью и веселимся меньше, чем могли бы. Сам видишь, можно было бы жить более широко.

– А разве при Шарлотте Стэнт мы станем жить более широко? – удивился отец.

На это Мегги, пристально посмотрев на него, дала поразительный ответ:

– Да, я думаю – да. Гораздо более широко.

Мистер Вервер призадумался. Если это намек, тем более следует проявить понимание.

– Потому что она такая красавица?

– Нет, папа, – ответила княгинюшка почти торжественно. – Потому что она такая замечательная.

– «Замечательная»?..

– Замечательная – по природе, по характеру, по духу. По всей своей жизни.

– Да ну? – эхом отозвался мистер Вервер. – Что же она такого замечательного совершила... в своей жизни?

– О, она всегда такая храбрая, такая умная, – сказала Мегги. – Может, с виду это не так уж и много, но при ее обстоятельствах не всякая девушка смогла бы остаться такой. У нее ведь, считай, нет ни одной родной души на свете. Только знакомые, которые ее эксплуатируют, каждый по-своему, и дальние родственники – эти до того боятся, как бы она не стала их эксплуатировать, что стараются встречаться с ней как можно реже.

Мистер Вервер был поражен – и, как всегда, немедленно сделал практические выводы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.